

Н. Л. ПОДОЛЬСКИЙ

П О В В Л И Т Е Л Ъ Т Е Н Е Й

Тень — темное отражение на
чем-либо, отбрасываемое предметом,
освещенным с противоположной сто-
роны.

Толковый словарь

На рассвете меня будят вороны, что шьют над крышей мансарды в старых речных трубах. Они каркают тягуче и важно, как будто рассвет — их семейный праздник, и этим многозначительным карканьем они поздравляют друг друга с долгожданым событием.

К их торжественности невольно приобщаюсь и я и, открывши окно, смотрю как солнце вступает в город. Сначала оно окрашивает в свои цвета шпиль, купола и самые высокие крыши. Потом, перескакивая с трубы на трубу, лучи отмечают знаками солнечных пятен все новые дома, словно их пересчитывая и проверяя, не пропало ли что-нибудь за ночь. И в какой-то момент, всегда неожиданный, красноватый горячий блеск заливают все крыши разом, и солнце, вполне овладев верхним ярусом города, начинает опускаться в сумеречные провалы улиц.

В это самое время мне пора выходить из дома — ровно в девять я должен сидеть на работе, разложив на столе бумаги, держать в руках авторучку. По пути об этом не думаю, стараюсь об этом не помнить.

Улицы еще прячут внизу сонные остатки тумана, а верхние этажи уже поглотило солнце, их окна бросают через дорогу светлые пятна, словно плавающие на стенах затемненных домов. Те же на освещенную сторону отбрасывают плотные тени — тени труб, тени крыш, балконов, решеток, бабел; они рисуются угловато на стенах, перекашиваясь и ломаясь зигзагом на карнизах. Получается еще один город, город темных причудливых силуэтов, он вдоль улиц тянется квартал за кварталом, и порою мне кажется, что живет этот город теней своею собственною жизнью независимо от города каменного.

О возможной самостоятельности в поведении теней я не думал всерьез, пока не познакомился с Санькой. В тот раз по пути на работу я рассматривал на угловом доме тени балконов. Они были резные, все в завитушках, и на верхнем из них тень девушки поливала тени цветов из кофейника. Вот тогда-то и подошел ко мне Санька и, наверно, долго кдал, пока я взгляну на него.

Мну было лет тридцать. Бросались в глаза отвислые поля плыны, грива длинных темных волос и ботинки, совершенно ли-

ленные формы и цвета. Он смотрел на меня спокойно и грустно, и мне показалось невероятным, что в одном человеке может быть так много грусти.

— Хочешь, скажу о чем ты думаешь? — спросил он голосом тихим и ровным, — не менее грустным, чем взгляды, и, обращаясь ко мне на ты несмотря на очевидную разницу в возрасте. Мне стало тоскливо и очень неловко, казалось, я все-таки утону в этом безбрежном море грусти и никогда уже больше не смогу смеяться и радоваться.

— Ты думаешь, какой прекрасный пред тобой человек, и как тебе его хочется угостить кружкой пива! — На лице его появилась робкая улыбка, а грусть его начала уходить куда-то, и я почувствовал огромное облегчение и благодарность ему за это. Кажется, я даже вслух рассмеялся.

Когда мы закончили с пивом, он представился:

— Меня зовут Санкой.

Я не точно понял его и, прощаясь, назвал Сашей.

— Не Саша, а Санка, — поправил он с мягкой непреклонностью.

Проводивши меня до самой службы, он объявил, что готов гулять со мной хоть каждое утро, что ему на работу к одиннадцати и что двух часов, с девяти до одиннадцати, ему будет как раз хватать для занятий "своими делами".

Как потом оказалось, он работал в магазине старой мебели, точнее, не в магазине, а около магазина. Его компаньон, молчаливый небритый увалень, владел транспортным средством — двухколесной тележкой, а Санкин вклад в дело состоял в умении разговаривать и грустном его обаянии, привлекавшем клиентов.

Я встречал его часто, всегда случайно, но с неизменной регулярностью. Он грустно и приветливо улыбался, мы гуляли или пили пиво. Он разделял мое пристрастие к "тому городу", городу теней, но его интерес к теням был более циничным, с оттенком непонятого профессионализма, он словно изучал их, обращая пристальное внимание на детали.

Однажды он подвел меня к тумбе, оклеенной театральными афишами. На ней рисовалась пологим горбом тень садовой решетки.

- Посмотри! - он показал на портрет какой-то болгарской певицы, обрамленной массивной тенью кольца; над ним возманилась острая тень ипки. Я невольно взглянул на решетку - и кольцо и ипка была на месте.

- Забавно... - протянул я уклончиво.

В сапсовых глазах отразилось некоторое недоумение. Он подошел к решетке и будто учитель, объясняющий у классной доски, постучал пальцем по завитку внутри кольца. Действительно, тень у этого завитка не была там, где полагалось быть, лоснилась на солнце синим типографская краска.

Эта малочь приятно меня поразила. Все мы знаем с детства, что тень обязана повторять свой местечник до мельчайших подробностей, не допуская никаких отклонений, и от этого мир теней что-то теряет. А сейчас случилось, хотя и маленькое, но все-таки чудо.

Видно, Банка знал еще кое-что о подобных вещах; однако я его не расспрашивал, ожидая, пока он захочет сам что-нибудь рассказать.

Повод вскоре нашелся. Есть удивительное место во дворе Садовой - двор не двор, что-то вроде небольшого пустыря. Вокруг вырос лес высоких серых домов, обступив его сплошь, а внутри, как поляна, осталось свободное место. Вели туда две или три подворотни с канала, и было приятно и неожиданно, пройдя обычные городские ворота, оказаться не в узком колодце-дворе, а почти на открытом месте, среди тополей, диковато растущих кустов и скамеек, расставленных без всякой заметной системы. Под деревьями прижились два каменных желтых сарая, построенных весьма основательно, а посредине этого странного места красовался земляной холм, на котором рос древний и кряжистый тополь.

На скамейках с раннего времени гремьсь на солнце старушки, но всегда находилась где-нибудь пустая скамья, чтобы присесть на минуту и выкурить сигарету. Особенно хорошо здесь в июне, когда цветут тополя. Белый пух собирается в большие сугробы, и если сесть на скамейку и удержать хоть немного перекатываемого ветром пуха, то очень скоро можно оказаться по пояс внутри белого мягкого вороха, каждый клочок его трепещет и готов оторваться, лететь по ветру и плясать над землей.

Вот здесь-то веселым солнечным утром я и застал Сашку за работой. Он тянул рулетку вдоль кирпичной стенки сарая, шагая словно в морской пене по колено в сугробах шелковистого пуха, и белые хлопья трепыхались на желтой ленте рулетки, и на поляк сандапной шланы, и в волосах, придавая его облику нечто карнавальное. Несколько старушек, в таком же карнавальном убранстве, обступили его полукругом и следили терпеливо и молча за каждым его движением.

И пытался увидеть, что он там измеряет, и вскоре понял: на стенку сарая падали тени двух рядом стоящих домов — и этот чудный человек в восемь утра мерил их тени, и даже не тени, а ширину дырки, просвета между тенями!

Скончив измерение, он записал что-то в блокноте. Одна из старушек осторожно сделала шаг внутрь полукруга и, утвердив свою кличку в пуховом сугробе и прочно опершись на нее, обратилась к Сашке:

— Скажи, милый, выселять-то нас осенью будете?

— Не будут вас выселять, не бойтесь, — попытался успокоить ее Сашка, свертывая рулетку.

— А чего я бояться, ты только скажи когда? — она подалась вперед и смотрела на Сашку настойчиво-просительным взглядом.

— Не бойся мы! Пуганнине мы, пуганнине! — оживилась внезапно другая старушка.

Сашка беспомощно стал оглядываться и, заметив меня, поспешно направился в мою сторону. Старушки проводили его тусклыми покорными взглядами, покивали медленно головами и начали расползаться по своим делам.

— Невежественные люди! — вздохнул Сашка.

На следующее утро он появился с видом торжественным и деловитым, с паккой каких-то картонок в руках.

— Если ты не спешить, я тебе кое-что покажу.

Разумеется, я не спешил. Он усадил меня на скамейку и разложил на ней лист газеты, тщательно расправив складки от сгибов. Затем взял одну из картонок с вырезом в виде ромба и приблизил ее к газете. На ней легла тень картонки с солнечным пятном посередине, по форме того же ромба. Но как только Сашка поднял картонку повыше, ромб на тени рас-

Вот здесь-то веселым солнечным утром я и застал Сашку за работой. Он тянул рулетку вдоль кирпичной стенки сарая, шагая словно в морской пене по колена в сугробах шелковистого пуха, и белая хлопья трепыхались на желтой ленте рулетки, и на полях санкиной шланы, и в волосах, придавая его облику нечто карнавальное. Несколько старушек, в таком же карнавальном убранстве, обступили его полукругом и следили терпеливо и молча за каждым его движением.

Я пытался увидеть, что он там измеряет, и вскоре понял: на стенку сарая падали тени двух рядом стоящих домов — и этот чудный человек в восемь утра мерил их тени, и даже не тени, а ширину дырки, просвета между тенями!

Окончив измерение, он записал что-то в блокноте. Одна из старушек осторожно сделала шаг внутрь полукруга и, утвердив свою кличку в пуховом сугробе и прочно опершись на нее, обратилась к Сашке:

— Скажи, милый, выселять-то нас осенью будете?

— Не будут вас выселять, не бойтесь, — попытался успокоить ее Сашка, свертывая рулетку.

— А чего и бояться, ты только скажи когда? — она подалась вперед и смотрела на Сашку настойчиво-просительным взглядом.

— Не бойся мы! Пуганиние мы, пуганиие! — ошарашенная внезапно другая старушка.

Сашка беспомощно стал оглядываться и, заметив меня, поспешно направился в мою сторону. Старушки проводили его тусклыми покорными взглядами, покивали медленно головами и начали расползаться по своим делам.

— Невежественные люди! — вздохнул Сашка.

На следующее утро он появлялся с видом торжественным и деловитым, с пачкой каких-то картонок в руках.

— Если ты не спешить, я тебе кое-что покажу.

Разумеется, я не спешил. Он усадил меня на скамейку и разложил на ней лист газеты, тщательно расправив складки от сгибов. Затем взял одну из картонок с вырезом в виде ромба и приблизил ее к газете. На ней легла тень картонки с солнечным пятном посередине, но форме того же ромба. Но как только Сашка поднял картонку повыше, ромб на тени рас-

плылся и превратился в правильный аккуратный овал.

Далее последовала еще серия опытов, все на картонках с дырками. Крест, помещенный в отверстие, превращался в темное пятнышко, спираль исчезла вовсе, а три небольших надреза в круге делали из него треугольник.

Игра мне вначале понравилась, но вскоре стала скучноватой.

— Это все пустяки, игрушки, — пояснил Сашка небрежно и, отложив в сторону ворох картонок, оставил только одну из них, видимо самую главную. Вырез в ней был большой, прямоугольный, с зубцами и надрезами по углам.

— Вырез занимает ровно половину длины! — объявил Сашка совершенно профессорским голосом. — Можешь проверить, — он положил на газету линейку с миллиметрами.

Я ожидал от этой картонки чего-нибудь замечательного, однако тень у нее оказалась самая заурядная, то есть такая же прямоугольная и уродливая, как и сама картонка. Мне показалось, что фокус просто не удался, но Сашка настойчиво предлагал линейку:

— Меряй!

Мы измерили тени и длину выреза — получилось, что из-за сашкиных зубчиков вырез тени занимал чуть больше места, чем ему полагалось.

Я загрустил немного от этого странного чухлого чуда, заметить котором можно было лишь с помощью миллиметровой линейки, и недоумевал, почему Сашка занят им столь серьезно.

— Неужели ты не понимаешь? — я впервые в голосе Сашки слышал укориженные нотки. — Ведь если научиться управлять тенями, знаешь, как много можно сделать!

Что значит управлять тенями и зачем это нужно, было совсем неясно, но Сашку огорчать не хотелось, я постарался изобразить на лице внимание.

С этого дня Сашка довольно часто показывал новые картонки. Судя по тому, с каким упорством от отвоевывал миллиметры у тени, работал он над своим изобретением с изрядным напряжением. Если учесть, что мне демонстрировались только лучшие образцы, он видимо переводил картон в невообразимых количествах.

Иногда он начинал толковать об особых пропорциях, критических числах, дифракции и интерференции, но у меня эти слова вызвали в памяти лишь давнее, почти забытое ощущение полумрака и прохладной скуки физического школьного кабинета, тусклый блеск стеклянных дисков в шкафах и гортанный голос учительницы.

Как бы то ни было, Сашка упрямо все лето продолжал свои изыскания и к осени добился ошутимых успехов. Однажды он принес очередную картонку, а они, честно сказать, успели уже мне надоесть, с хитроумно изрезанным краем, изрезанным, разумеется, по каким-то точным его расчетам.

Мы сидели в скверике на скамейке, и когда Сашка подставил свое творенье лучам солнца, на песок под ногами легла тень картонки, и тень эта явственно распалась на два отдельных квадрата. Я взял ее в руки, это была плотная прямоугольная картонка, совершенно целая, если не считать одной длинной кромки, ошестившейся кривыми зубцами. А тень ее, на что бы она ни ложилась — на наши колени, руки, на лист газеты — неизменно распалась на две отдельные половинки, разделенные солнечной полосой не менее, чем в палец толщиной. Это было вполне осязаемое чудо, и хотя я не стал рассипаться в комплиментах, Сашка понял, что я, наконец, уверовал.

Манеры его теперь изменились, в нем появилась энергия и уверенность преобразователя. Он постоянно рассуждал вслух и строил разнообразные проекты. Стоило нам зайти в какой-нибудь двор, как Сашка его окидывал оценивающим взглядом.

— Этому дому больше ста лет, представляешь? Значит, сто лет на эту землю, — он притоптывал возбужденно ногой, — не попадало солнце! Сто лет! А мы его сюда впустили! — он обводил рукой безнадежный серый колодец двора. — Видишь, какие детянки бледные? Пожалуйста, сорванцы, будете своро играть на солнце! ...Белье сохнет? Вот вам солнце, хозяйки, сушите ваше белье!.. А вон девушка на подоконнике! Пожалуйста, барышня, загорайте на солнце!.. И всего-то дела — несколько выстунов на крыше!

Я представил вдруг город, все дома которого изуродованы чудовищной зубчатой бахромой. Но Сашка перехватил эту мысль и посмотрел на меня ласково, как смотрят родители на любимого прикурковатого ребенка:

— Испугался? Про зубцы на домах думаешь? Да ты их и не заметишь! В музее связи не был? Сходи, там приемник Попова — так целый стол занимает, а теперь, погоди, транзисторы — в карман помещаются!.. И зубцы тоже спрячутся, не волнуйся!

Осенью нам принесла и другое немаловажное событие — у Сашки кроме меня появился еще поклонник, вернее поклонница.

Мы куда-то брели по каналу. Мне всегда казалось, против доводов смысла, что сюда, в это каменное ущелье, солнце заглядывает реже, чем в другие углы города. Но в то утро солнце, еще прохладные лучи позолотили серые плиты набережной, и горбатые мостики, и пыльный асфальт, и огромные бетонные плиты, сложенные зачем-то поленищами вдоль берега. Солнце беспощадно высвечивало белесые мутные разводы в воде канала, ржавые потеки на стенах, кучу ящиков и покрытие синеватой пленкой дужки рассола на задворках рыбного магазина.

В этом ярком свете и в позолоте было что-то неловкое, и хотелось скорее уйти отсюда. Но Сашка остановил меня — впереди на мосту, где канал поворачивал влево, его взгляд привлекло яркое желтое пятно.

Добредя до моста, мы на нем обнаружили весьма юную барышню, облокотившуюся на перила и сосредоточенно глядевшую вниз. В дополнение к сиянию желтого платья у нее были выщипанные светлые волосы — ни дать-ни взять ангелочек спустился на грешную землю, чтобы порадовать взоры ее обитателей.

Мы остановились рядом, желая понять, что она там рассматривает, она же не обратила на нас ни малейшего внимания. Внизу был гранитный спуск к воде, совершенно пустой, и горбатая тень моста ложилась на его ступени; кроме нее там разглядывать было нечего. Мы с Сашкой переглянулись, но не поверили сначала своей догадке.

За нашими спинами послышался стук каблучков, и по ступеням спуска зашагала тень женщины в шляпке; дойдя до воды, она продолжала путь по каменной облицовке набережной и скрылась под мост. Судя по движениям склоненной головы, обладательница желтого платья, как и мы, проводила тень глазами — стало ясно, что мы нашли родственную душу.

Она уже явно заметила нас, своих коллег и конкурентов, но недовольства не проявила.

- Испугался? Про зубцы на домах думаешь? Да ты их и не заметишь! В музее связи не был? Сходи, там приемник Попова - так целый стол занимает, а теперь, погляди, транзисторы - в карман помещаются!.. И зубцы тоже спрячутся, не волнуйся!

Осень нам принесла и другое немаловажное событие - у Сашки кроме меня появился еще поклонник, вернее поклонница.

Мы куда-то брели по каналу. Мне всегда казалось, против доводов смысла, что сюда, в это каменное ущелье, солнце заглядывает реже, чем в другие углы города. Но в то утро косые, еще прохладные лучи позолотили серые плиты набережной, и горбатые мостики, и пыльный асфальт, и огромные бетонные плиты, сложенные зачем-то поленищами вдоль берега. Солнце беспощадно высвечивало белесые мутные разводы в воде канала, ржавые потеки на стенах, кучу ящиков и покрытие синеватой пленкой лужи рассола на задворках рыбного магазина.

В этом ярком свете и в позолоте было что-то неловкое, и хотелось скорее уйти отсюда. Но Сашка остановил меня - впереди на мосту, где канал поворачивал влево, его взгляд привлекло яркое желтое пятно.

Добредя до моста, мы на нем обнаружили весьма юную барыню, облокотившуюся на перила и сосредоточенно глядевшую вниз. В дополнение к сиянию желтого платья у нее были выходящие светлые волосы - ни дать-ни взять ангелочек спустился на грешную землю, чтобы порадовать взоры ее обитателей.

Мы остановились рядом, желая понять, что она там рассматривает, она же не обратила на нас ни малейшего внимания. Внизу был гранитный спуск к воде, совершенно пустой, и горбатая тень моста ложилась на его ступени; кроме нее там разглядывать было нечего. Мы с Сашкой переглянулись, но не поверили сначала своей догадке.

За нашими спинами послышался стук каблучков, и по ступеням спуска зашагала тень женщины в шляпке; дойдя до воды, она продолжала путь по каменной облицовке набережной и скрылась под мост. Судя по движениям склоненной головы, обладательница желтого платья, как и мы, проводила тень глазами - стало ясно, что мы нашли родственную душу.

Она уже явно заметила нас, своих коллег и конкурентов, но недовольства не проявила.

Чтобы скрепить наш молчаливый союз, мы пропустили под мост еще одну тень, — бородатого мужчину с тростью и большим тяжелым портфелем, и тогда только Сама рискнул завести разговор.

— Извините... Но дело в том... Нам интересно, что вы тоже любите тени... — Это было невероятно: Сашка, за свои тридцать лет повидавший многое и обладавший немалым опытом уличного нахальства, сейчас, обращаясь к ребенку, отчаянно конфузился.

Она обернулась, изобразив на лице вежливую удивленность, тут же, однако, сменившуюся вдумчивым выражением.

— А мне что... Не жалко, смотрите, пожалуйста, — ей передалась, видимо, часть сашкиного смущения: она отвернулась, чтобы проследить за очередной тенью.

Время приближалось к девяти, и я осторожно спросил:

— А ты не опоздаешь в школу?

— Опоздаю, — она взглянула в последний раз через перила и с неохотой от них отстранилась.

Теперь пришла очередь нашим теням проделать знакомый путь: к воде по ступеням лестницы, потом по гранитной стене над водой, и дальше, под мост в темноту.

Они вместе, ангелочек и Сама выглядели довольно нелепо — нарядный ребенок и взрослый городской оборванец, но их тени обнаружили удивительное, прямо-таки семейное родство. Там, в мире теней, прошла по стене беспечная пара: барышня лет шестнадцати и изящно-нескладный юноша с длинными волосами, в широкополой пасторской шляпе.

Мы проводили ее до дверей школы, и тут она вдруг замаялась, словно ожидая от нас чего-то.

— Вы забыли спросить, как меня зовут!

Действительно, это вышло неловко, но Сама спас положение:

— Понимаешь, все дело в моем имени, к нему нужно привыкнуть... Меня зовут Сашкой...

— Сашей? — спросила она в недоумении.

— В том-то и дело, что не Сашей, а Сашкой!

Ее недоумение усилилось, и она внимательно разглядывала Сашку: внезапно ее лицо прояснилось, и на нем расцвела

довольная улыбка, будто она получила подарок.

— Поняла... Сашкой...

Но тотчас, вспомнив о времени, она сделалась деловитой.

— А меня зовут Жанной, — она изобразила нечто вроде книксена и исчезла в дверях.

В этот день я измучился на работе. Пока я писал в бланках цифры, складывая их, проверял, и снова складывал, перед глазами навязчиво возникало видение желтого платья у чугунной решетки и уходящие под помост тени. Давно уж усвоив, что цифры замечают все и ничего не прощают, и наделены своей особенной мстительностью, я усердно их отгонял, эти видения, но они опять возвращались.

Следующим утром я вышел из дома позже обычного, и ни Сашки, ни Жанны не встретил; зато через день натолкнулся на них, едва выбравшись на улицу. Они шли мне навстречу, держась за руки, и вид у них был совершенно счастливый.

Что в Сашке так цепко и безоговорочно привлекло Жанну, до сих пор не очень понятно — видимо, то, что он был разительно непохож на всех, кого она знала или о ком слышала. Во всяком случае, его изыскания и проекты она ни в грош не ставила. Когда в первый раз Сашка показал ей свои штуки с картонками, она не увидела в них не только что чуда, но даже сколько-нибудь занятного фокуса. Для нее само собой разумелось, что тень и предмет — разные вещи. И даже его лучший номер, картонка с распадавшейся на части тенью, не имела успеха.

— Наверняка это кто-нибудь уже изобрел! — безапелляционно заявила она.

Сашка возмутился до крайности.

— Уже изобрел! Ха! А почему тогда строят такое? — он кивнул на прямоугольный фасад дома, в тени которого ютились обглоданные деревья.

— Значит, это никому не нужно!

— Ты рассуждаешь по-детски, — надулся Сашка, — не так все просто, как тебе кажется!

Не стоило ему упрекать ее этим "по-детски", потому что месье была вполне взрослой.

— Главное, это ужасно скучно, — она весьма естественно

зевнула, — а вот вчера от меня убежала тень...

— Ты выдумываешь! — перебил Сашка. — Про это есть сказка!

— Знаю сказку... А моя тень убежала по-правде и была на балу, где все были тени, и всю ночь танцевала с тенью принца. Принц был в камзоле и с кружевами, и в шляпе с пером!

— А он не был еще и на лошади? Кто же ходит на бал в шляпе? Шляпу оставляют в прихожей!

— Это у людей так, — терпеливо объяснил ребенок, — а у теней все иначе.

Сашка обиженно замолчал и закурил сигарету.

Подобные ссоры случались нечасто, но всегда по определенному поводу. Стоило Сашке увлечься очередным проектом переустройства города, как ангелочек, уставив мечтательный взгляд в небо, заводила свое:

— А вчера от меня убежала тень...

Она просто ревновала его к искромсанным картонкам и к существовавшему только в его воображении будущему городу укрощенных теней. А он ее — и собственно не ее, а ее тень — к тени принца, не снимавшего на балу шляпу, или еще к чему-нибудь подобному.

Все же Сашка заметно оттаял от своей деловитости и обрел на какое-то время способность бескорыстно любоваться утренним городом, хотя и не мог отрешиться полностью от привычки сопоставлять тени и их источники. Жанна же безраздельно переселялась в теневой город, иногда она про нас забывала, глаза ее расширялись от удивления, и губы возбужденно о чем-то шептали; в мире теней ей открывалось нечто, Сашке и мне недоступное. Она находила своих принцев, рыцарей и прекрасных дам среди теней людей, в сонной поспешности направлявшихся на работу.

— Смотрите, смотрите! — тянула она то и дело кого-нибудь из нас за руку. Но, взглянув на то, отчего она приходила в восторг, мы видели лишь сутулую тень прохожего, торопливо бегущую по желтой стене.

Только раз, уж не знаю, что это было за наваждение, мы

увидели то же, что и она. Когда в очередной раз она дернула меня за рукав, показывая вверх, мы разглядели в оплетении теней труб, проводов и еще чего-то нам неизвестного, идущего по проволоке канатоходца. Ошибки не было — там шел настоящий канатоходец из уличного цирка, с шестом и в гимнастическом костюме. Он двигался не спеша, легко и осторожно ступая, балансируя шестом, и проволока под ним слегка прогибалась; вскоре он исчез в тени высокой крыши.

— А внизу, внизу какая толпа! — не унималась Жанна.

Но внизу мы уже ничего не заметили, кроме нескольких теней на стенке, ожидавших у перекрестка, пока им не позволят пройти тень светофора.

Сашка, верный своим принципам, принялся оглядывать крыши, отыскивая канатоходца, но ничего не нашел и выглядел немного растерянно.

Мы встречались почти каждый день, никогда заранее не договариваясь и не назначая специального места, но тем не менее обязательно встречались. Несмотря на мелкие разногласия, мы жили в своем особенном мире, защищенном от спешки и посягательства извне. Не знаю, откуда бралось это чувство абсолютной защищенности, но так или иначе, тот год был счастливым.

Наше прелестное существование продолжалось всю зиму и разрушилось только в начале лета. Пришло разрушение в образе красивой женщины, поджидавшей меня на улице после работы. Она улыбнулась мне, словно доброму приятелю, и шагнула навстречу.

— Я мама Жанны, можно мне поговорить с вами? — она и говорила и двигалась легко и упруго, и это впечатление упругости распространялось как-то и на одежду ее, и на лицо, и даже на взгляд, доверчивый и внимательный к собеседнику.

И все-таки непонятным образом от нее исходило ощущение настороженности. Слишком много, пожалуй, тщательности было вложено и в costume ее, и в приятной легкости общения, словно какой-то чудесный портной, вместе с сиреневым жакетом, шил для нее и эту беззаботную улыбку.

— Мне давно уж хотелось познакомиться с вами, да все не было случая, — она взяла меня под руку, и прохожие поглядывали на нас одобрительно — должно быть, мы выглядели

омень благополучной парой, солидный стареющий гражданин и красивая, хороша одетая женщина.

- Но теперь я... немного беспокоюсь за Жанну, - она загнулась слегка, и от этого потерялась частица внешней ее безмятежности, как падает вдруг лепесток свежего с виду цветка, и цветком остается свежим, но уже есть в нем пустое место, которое ничем не заполнится. - Эта игра с тенями, она детская, я боюсь за нее... и красота эта - тоже не для детей, - она махнула рукой в переулок, упиравшийся в узкий мостик... - Жанна стала меняться... тени, тени... я боюсь этого города... - лепестки ее беззаботности опадали один за другим.

- И еще ваш ужасный Сашка... да, да, ужасный... он из этого города, из камня и теней... и вы не поймете, я боюсь его, он сам - тень!

- О! - не выдержал я.

- Я же говорила, что не поймете, оттого что вы женщина, - засмеялась она, и мне на миг показалось, но только на миг, что все лепестки вернулись на место.

- Мой ребенок говорит ужасные вещи... - голос ее стал жалобным, - все Сашка, Сашка... Это ж надо такое выискать! От него бы нормальный ребенок бежал без оглядки, а она с ним на ты! Почему? - Она обиженно всхлинула. - Из целого города выискала... именно это! Почему? - в глазах ее появились слезы, словно требуя от меня ответа на это настойчивое "почему".

Мы завернули в первую попавшуюся подворотню, и по странному совпадению за ней оказался тот самый двор-пустырь, двор-поляна, где прошлой весной я встретил Сашку с рулеткой.

Как и год назад, тополиный пух неслышно плыл над землей, и старушки в черном сидели по своим скамейкам, украшенные трепещущими белыми хлопьями.

- Давайте присядем, - попросила она. Глаза ее не были накрашены и она смело орудовала носовым платком.

Старушки на нас не взглянули даже - женщина с платочком у глаз и мужчина, ее утешавший - банальный пустяк для большого города.

- Это все не так страшно, - теперь она говорила спокой-

— Это все не так страшно, — теперь она говорила спокойной и медленной, — беда в самой Жанне, а может, в моем отце. Он всю жизнь рисовал и носил рисунки на выставки, их там у него не брали, но он все равно носил. Без конца рисовал одно и то же, портил и рвал рисунки, и бесился, что его не хотят понять. Это было ужасно... Я всегда была счастлива, что Жанну к этому не тянуло. А сейчас она начала рисовать, и, как дед, рвет рисунки!

— Но может быть...

— Нет, нет! Если бы вы видели — это выражение лица, его ни с чем не спутаешь! Я вижу, она хочет чего-то, чего вообще нет, и знает, что этого нет, и поэтому сердится! Это ужасно! — она остановилась, чтобы перевести дыхание. — А теперь посмотрите, что она рисует!

Она достала из сумочки скрученные в трубку листки. Они не слушались и все время сворачивались, но нам удалось кое-как их расправить у нее на коленях.

Все рисунки были темными силуэтами, силуэтами города теней. Листки заполняли призрачные, казавшиеся живыми тени домов и старинные автомобили с большими смешными колесами, молодые люди в котелках и с усиками, и женщины в шляпках с лентами, в длинных до земли платьях, и деревья со странными цветами в ветвях.

— Если хотите, возьмите что-нибудь, — предложила она, — Жанне будет приятно...

Я выбрал рисунок, где в нижней части листа по проволоке шел канатоходец, а наверху, на карнизе, сидели в ряд и как-будто смотрели вниз вороны и еще какие-то диковинные птицы. Мне-то рисунки очень понравились, но я слишком мало в этом смыслил.

— Вы не хотите показать их понимающим людям?

— Уже показывала, — она вдруг смутилась, — говорят, ничего особенного, многие дети так рисуют...

— Ну вот, — она поднялась со скамейки, — стоит немного поплакаться, и становится легче, — улыбка ее стала опять беззаботной. — Завтра мы улетаем в Крым, к бабушке. И наверное, мы вообще там останемся... Я боюсь этого города, а там... там тени короткие, их почти не видно. Не сердитесь, что я так всего боюсь, но дочь — это очень сложно...

На улице, уже прощаясь, она протянула мне карточку:

— Наш будущий адрес, не потеряйте!

Наутро Жанна, в нарядном оранжевом платье, пришла попрощаться. Она чмокнула каждого из нас в щеку и убежала, а у меня не хватало духа открыть Сашке истину.

Но на следующее утро я все-таки решился.

— Наивная, ограниченная женщина! — заявил Сашка. Он всегда начинал выражаться напыщенно, когда не мог скрыть обиду. — Она думает, можно убежать от собственной тени!

Сашка вернулся к своим картонкам, а меня послали в командировку, в тихий маленький город с резными деревянными крылечками, с тополями и липами.

Я сидел в светлой комнате за таким же канцелярским столом, как у себя на работе, и, приучившись не замечать vorobьного гвалта за раскрытым окном, проверял бесконечные столбики чисел на привычных зеленоватых бланках, уже начинающих желтеть. На счетах в стуже костяшек на секунду вновь оживали цифры, пять лет назад означавшие чьи-то зарплаты, налоги и алименты, а теперь уже ничего не значившие и имевшие смысл лишь для двоих — для меня, искавшего в них ошибки, и для человека, который мог эти ошибки сделать... Он, уступивший сейчас мне свой стол, сутулый до горбатости старый бухгалтер, по субботам и воскресеньям давал мне свою лодку, чтобы я мог кататься по ленивой зеленой реке и удить рыбу — словно я приехал не проверять его, а в гости. Я отсчитывал время по этим субботам и воскресеньям, и они скоро так примелькались, что отведенный мне срок прошел бездумно и незаметно.

Домой я уезжал с удовольствием и, ложась в поезде спать, размышлял, как пойду гулять утром, и где лучше искать Сашку.

Город встретил меня, несмотря на раннее время, духотой и жарким солнцем. Сашку я обнаружил у пивного ларька, причем явно он был в центре внимания, между ним и очередью происходило какое-то объяснение. Не желая мешать, я пристроился тихонько в хвосте.

— Покажи, Сашенька! — просил высокий багроволицый мужчина, умильно улыбаясь и протягивая Сашке только что полученную от продавщицы кружку с белым султаном пены.

— Я тебе не Сашенька! — отвечал тот, против обыкновения

раздраженно.

- Покажи, Сашка! Покажи! - раздалось несколько голосов сразу.

Сашка хмуро кивнул и взял кружку. Он отошел к стене и, глядя вдаль, вытянул руку с кружкой, застыл неподвижно, как памятник. Тень его с кружкой в руке и важно откинутой головой выделялась черным пятном на грязно-голубой штукатурке.

Все крупом замолчали, и даже продавщица перестала греметь кружками и, опершись рукою о края, выжидательно смотрела на Сашку.

Он же, выдержав приличную паузу, быстро и как-то странно переставил пальцы, державшие кружку. И тень ее на стене, вместе с колеблющимся султаном пены, явственно отделилась от сашкиной руки и торжественно воспарила рядом с ней в воздухе.

Позволив всем насладиться зрелищем, Сашка как ни в чем ни бывало выпил свое пиво. Публика не скупилась на одобрительные возгласы.

- Надо же!.. Ишь артист!..

- Вот и я, - объяснял багроволицый хлопотливо и радостно, - и я тоже сперва не поверил!.. А вот видишь!..

Ко мне доверительно наклонился старичок в поношенном морском кителе:

- В Академии наук... большой человек был... а вот стубила...

- Кто стубила? - не понял я.

- Кто, кто... нашего брата водка губит...

Сашка явно был в дурном расположении. Думая, что ему неприятна внезапная популярность, я постарался скорей увести его от ларька, но его нервозность не проходила.

Оказалось, летом, оставшись один, Сашка решил, что пора обнародовать свое изобретение. Он хотел научить архитекторов разбивать тени.

Начал он на удивление толково. Он нашел корреспондента молодежной газеты, который эту историю счел заманчивой и набросал даже заметку под названием "Новелитель теней". В управлении архитектуры их приняли благосклонно и отправили в проектный институт. Но там захотели узнать, что скажут специалисты по оптике, и пришлось идти в оптический институт. Те же сказали, что это известный оптический эффект,

хотя они не против, чтобы им пользовались.

— Понимаешь, — уныло объяснял Сашка, — они там столько всего наоткрывали, что у них уже ум за разум зашел, им что ни покажи, не удивятся, "эффект" да и все... А эти тоже — им инструкцию подавай, и чтоб подпись была профессорская!

Понятно, желающих сочинять к "эффекту" инструкцию среди оптиков не нашлось. Дело зашло в тупик, и даже встреча за круглым столом в редакции ничего не изменила. После этого корреспондент отступился от Сашки.

Но сейчас Сашка не выглядел побежденным, похоже, что у него в запасе была еще какая-то выдумка, он намекал туманно, что "еще им докажет". Он очень переменялся, стал нервно сосредоточен и об "играйте на солнце, детишки" больше не вспоминал. Ему было необходимо "им доказать".

Он, как видно, действительно что-то затеял, потому что стал появляться реже, а потом на несколько дней и вовсе исчез. А когда я его, наконец, увидел, вид у него был до крайности озабоченный, и он куда-то спешил.

— Приходи сюда завтра пораньше, — пригласил он меня тайно.

Я завел будильник, опасаясь проспать, и к шести был в условленном месте. Сашка был уже здесь, усталый, с разорванным рукавом, но бодрый и даже как будто взволнованный.

Город еще не проснулся, автомобилей не было, и шаги редких прохожих звонким эхом отдавались в пустых влажных улицах. Небо стало уже голубым и солнечным, а здесь внизу прятались серебристые прохладные сумерки.

Сашка ждал меня у подъезда большого дома кубических очертаний. Против него, через улицу, стоял двухэтажный старинный дом, бледно-оранжевый, с круглым чердачным окном и с колоннами по краям балкона. Наверное, он был когда-то окружен садом, тихий особняк за городом, недалеко от морского берега. Потом сюда пришел город, и с тех пор, как напротив вырос бетонный гранит, особняк этот больше ни разу не видел солнца; тень куба была столь обширна, что особняк во всякое время дня оставался в ее пределах.

Именно это место и выбрал Сашка, чтобы продемонстрировать, на что способно его изобретение. Отведя меня от дома, он молча показал вверх.

Да, там было на что посмотреть! По краю крыши встроились

В лесах и на болотах

Чувствую, что они зашевелились. Главное, раз в тридцать лет они начинают шевелиться. Я уже тридцать раз мысленно посчитал, когда они снова начнут шевелиться, чтобы как-то предотвратить, чтобы как-то вовремя спрятаться от них, чтобы не попасть под их шевеление.

Но главное не в этом. Главное, что они прекрасное... прекрасному мешают, главное, что они неизменные черты пробуждают и пробуждают всечасно.

Я уже давно заметил, кто неизменные черты пробуждает — от того подальше.

И вот теперь они...

Ну хорошо, что в конце концов они со мной могут сделать в своем неизменном, так сказать, шевелении? Душу убить? — они все равно не могут.

А это для меня главное: если душа жива, значит, и сам жив, значит немертв.

Но вот что плохо: это то, что они заставляют с себе думать, словно говорят: "Думай, думай о нас — мы зашевелились, именно для того и зашевелились, чтобы ты о нас думал. А пока ты думаешь — ты нам, нам голубчик, и нам больше этого ничего и не нужно.

Чем больше ты думаешь о нас, тем больше будешь притягиваться к нам и так притягиваться, что а сам вскоре зашевелишься.

А ведь с чего началось? Ведь началось с того, что болотом провля гроза; громыхал гром, молнии, блистали, а после этого заквакала лягушка, — ведь есть эпохи, когда на болоте лягушки только что и делают, что квакают.

И хотя в такие дни стоит теплая зырая и даже чем-то приятная погода, которая, кажется, предвещает солнечный и

ясный день, а вот то что лягушки квакают — это как раз и смущает, это как раз истораживает, хочется спросить: "А что они все квакают? От радости ли: от того ли, что должен наступить этот теплый и ясный день, или еще от чего другого?"

И потом лягушки: тут как ни верти — всё равно лягушки, да еще лягушки с торчащими из воды ртами и этими ртами хватящие разную мошкарю.

А может быть, среди этой мошкарю твой брат, сват или ты сам — вот что странно и вот о чем стоит подумать.

Так вот, с этого и началось: с того, что прошла гроза, громыхал гром, квакали лягушки... Ну и наквакали.

Что им, лягушкам? — Попал дождь: сунул голову в воду — сиди и жди, когда выглянет солнце, не то нам, земноводным.

...Так вот, прошла гроза, квакали лягушки и уже залетели какие-то бабочки и мотыльки, уже разлетелись жучки и стрекозы, уже поплыли над водой какие-то веселые круги, когда вдруг над болотом поплыл туман: сначала — клочками, потом — седой, а потом и как дым — не передохнуть, и тут же сразу и поплыли слухи: зашевелились, они зашевелились.

Нет, сначала был едва слышимый стук, вот как будто кто-то как по дереву стучал, по стволу, время от времени стучал и так стучал, что хотелось спросить: "Отчего он стучит, чего ему надо?"

Потом, кажется, стук прекратился; кажется, смолк: ушел в себя что ли? И вот тут-то и поползли слухи: зашевелились, они зашевелились.

Должен сказать, что я до тех пор никогда не думал о них, и никогда в голову не приходило, что они существуют, что они есть.

И никогда я не знал, что они время от времени начинают шевелиться, ну и еще кое-что...

И я о слухах никогда раньше не думал и о распространителях их.

Но вот однажды, когда вдруг стемнело и захотелось с кем-то поделиться — отчего эта темнота, так тут же сразу и выскочило: "говорят", сразу же и пошло: говорят, говорят.

...Да, была гроза, был гром, плакали лягушки; потом поползли слухи, прошел стук, стемнело и тут же стало известно: говорят, говорят и даже песня кем-то была сочинена и долго слышалась над лесом:

"А пускай говорят", но и сна не могла помешать распространявшимся слухам, отчего торчалые из воды головы лягушек сразу же попрятались, а с неба даже вроде что-то заманало — уж не дождь ли?

И вот тут-то как раз, может быть, перед долгим затяжным дождем; как раз, может быть, перед новой грозой, вдруг похолодало, исчезли комары и мухи, бабочки и стрекозы, подул северный ветер и понесло, понесло, а потом сразу же и стемнело.

И сразу же стало страшно, так страшно, что захотелось этот страх развеять, к кому-нибудь прильнуть; не очень, может быть, прильнуть, а слегка прильнуть, чтобы этот страх исчез, чтобы он больше не слышался.

Вот я и решил прильнуть к возлюбленной своей — но не тут-то было, потерпел полное фиаско, потому что и там этот страх возник, и возник не где-нибудь, а в глазах и с какой-то предсмертной болью.

А главное не в этом, главное я уже давно знал, я уже давно предчувствовал, что стоит им хоть один раз зашевелиться, как она сразу же с ними и объединится.

Конечно, где-то там, в глубине, в душе, она будет жалеть, сочувствовать и даже со временем, может быть, поставит памятник.

Но стоит им зашевелиться, как она за них, за них — не против меня, все-таки за них:

ты прав, принц датский, Гертруде милой шоколад
ленинградский...

Так что же все-таки было-то?

Сначала была гроза, гром, стук, слух, стемнело, а потом понесло, понесло и не от меня, к себе: колечки, кусты, кустарники, болотная грязь, и вдруг забулькала, забурыла вода и окрасилась, как в кровь, в черный цвет.

И вот тогда, кажется, тогда, да может быть, и раньше появился он, а вернее эти два разъяренные, два способные наливать кровью глаза.

Нет, не было, в самом деле не было: еще не летали, не отрывались камни, не стонали, не рушились дома, а просто, забулькав и взмутив воду, по стеблю кувшинки появился он, над освещенной светлой полосой болота появился он, а вернее эти два "способные", два пугавшие меня глаза.

Да он еще меня тогда пугал, тогда пугал, когда, чтобы заглушить тоску и скуку он возбуждался и тогда мне виделась другая картина: он хохочущий, он разбрызгивающий, он склоненный, а за спиной трубы заводов, крематориев — желтый свет, идущий из глаз.

Впрочем, говорят, он пользовался большим успехом у самых молоденьких и мечтающих получить отличный балл.

Он увозил их на дачу и там их соблазнял.

Я же получал двойки, но и он возбуждал меня, так что и я оглядывался по сторонам в поисках какой-нибудь смазливой соседки.

Тогда я еще не знал, что тот, кто возбуждает в тебе низменные чувства, твой потенциальный убийца.

Ну хорошо: была гроза, был гром, стук, слух, стемнело, а потом задыхало, понесло — дома, горы, и не от меня, ко мне, и вот тогда появился он, тогда и появились эти два способные наливать кровью глаза...

Но разве это было странным, разве то, что сначала — стук, слух, стемнело?

Странным было то, что вслед за тем, что они зашевелились, стало известно, что они поползли.

Вот что было странно. И вот отчего я на какое-то время

испугался.

Ну хорошо, я, я, привыкший смотреть в глаза, я не бо-
ящийся смерти, хорошо я. Но как ты? Вот вопрос? Как ты, мой
единственный, мой прекрасный?

Странно то, что ты упадешь, чиркнешь по небу опавшей
звездой, опаленным камнем, а из моих глаз не будет ни слез,
ни звезд гаснущих на ветру и в ночи.

/И сказал и этим облегчил свою душу./

И С Х О Д

Что за наслаждение врать. Иной раз врешь, врешь, оста-
новишься и сам себе скажешь: "Вот как заврался: врал, врал
и вдруг сказал правду".

А то стоишь с приятелем где-нибудь на Невском, ночью,
и вдруг ни Невского, ни приятеля, один телеграфный столб и
ты под ним в какой-нибудь Винница или Эмеринке.

Впрочем, ничего плохого насчет Эмеринки я не хочу ска-
зать: я был там проездом; город как город, как все провинци-
альный тамонные города, весь в вишневых и даже черешневых
садах, есть там и детсады, где вполне сносно отдыхают дети
служащих и рабочих.

Так вот, дело совсем не в этом, а в том, что я в свое
время убедился, что нет ничего скучнее выраженной вслух ис-
тины. Конечно, пока она там созревает в голове, это может
быть и представляет немалый интерес и некоторую фантазию,
а стоит ее воплотить, то есть как-нибудь произнести, тут-то
и начинается скука, а проще говоря, то, что мы русские в
минуты откровенности говорим: тоска.

А ведь не понимают, какое вдохновение вдруг охватыва-
ет тебя, когда ты врешь. А сколько наконец легкомыслия и
связанного с ним наслаждения доставляет тебе ложь.

А разве без легкомыслия жил когда-нибудь человек: ведь
в конце концов если подумать, может быть, вдруг и окажется,
что самое серьезное дело и есть самое легкомысленное.

Вот возьмем какую-нибудь страшную бомбу: эта бомба

сплошное легкомыслие. Взрыв — и человека как ни бывало. Да, что человек, муха и та умирает. Да и как умирает. Подпрыгает, подпрыгает лапками, повертит стеклянной головкой и сандали в сторону.

А эту бомбу наверняка делал какой-нибудь поборник истины или любитель современной науки и если не такой, чтобы там уж, а все-таки и он наверняка был уверен: не зря свое время коптит, не зря под Луну ходит.

Опять же о Луне. Тут я недавно слышал, но газет не читал (я был в самой дальней, глухой деревне, именно для этого и поехал, чтобы газет не читать), так вот, я слышал, что кто-то там уже побывал на Луне и какой-то там мешок с камнями уволок на землю.

Так разве это не легкомыслие: зачем, спрашивается, с Луны таскать камни, когда у нас на своей земле своих хватает камней и кавычек.

А кавычки вот к чему, ведь тут такая мысль назревает: ведь если собаке принять человеческий палец, будет ли жив этот палец или умрет сама собака?

Так вот, возвращаясь к этой самой Луне, которая, говорят, как-то там начала сыпаться (до сих пор не сыпалась, а вот теперь начала сыпаться), так вот, если к Земле добавить немного лунной поверхности, приживется ли она здесь или не приживется, или не произойдет ли какой-нибудь страшной земной катастрофы?

Может, этот кусок иноземной породы обладает какой-нибудь духовной субстанцией, о которой никто и не догадывается и которая может всколыхнуть умы человеческие, что и приведет к гибели цивилизации.

А ведь это страшно. Ведь это гибель всего человечества. Ведь тут совсем не до мух.

Мухи-то в конце концов могут взлететь, это их дело. А ты как? Что ты будешь делать? Кто ты такой, если ты даже не миллионер. Говорят, миллионеры в последнее время придумали прятаться в сейфе, глубоко под землей, и им с этой самой глубины на все остальное наплевать.

А вот кто ты? Кто ты? И поди, скажи что-нибудь против?

— Кто ты такой? — спросят, — Как тебя звать и кто у тебя жена и дети, и где ты записан.

Вот и приходится иногда сворачиваться, если и не в четверо, то по крайней мере вдвое, потому как целиком не разложись, а если и разложись, тебя кто-нибудь обязательно изомнет.

Вот, например, месяца два назад в один прекрасный день я говорю моему шефу (я в то время был громкий поборник истины и правоты, а когда речь заходила о справедливости, просто горел: попробуй что-нибудь мне скажи против — сразу в слезы, да что в слезы: "Как вы можете, — говорил, — вы, такой прекрасный человек, как вы можете так осквернять человеческую натуру").

Так вот я и сказал примерно это же самое моему шефу: "Как, — говорю, — вы можете быть моим начальником, когда у вас нет никакого представления об идеале и когда вы не только пошляк, но и негодяй, оставивший в слезах свою жену и годовалого ребенка".

И знаете, что он мне на это ответил?

— Молодой человек, — сказал он мне, и не без легкой усмешки, — молодой человек, я уже давно присматриваюсь к вам и, надо сказать, не без удивления. Где вы живете? Сколько вам лет? И где вы, собственно, были в ваши последние двадцать три с половиной года, не считая тех самых девяти с половиной месяцев...

— Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, — сказал я побледнев, вот только от чего — не помню.

— Вот что я имею в виду, — сказал начальник, — и сейчас, — говорит, — изложу все вам и не без прикрас.

— А сущность, — говорит, — в том, что жили-были дед и баба и была у них курочка Ряба. И снесла эта курочка яичко, и яичко не простое, а золотое...

И если бы не мляка, которая почему-то виляет хвостом (чего бы ей вилять?), то яичко бы не разбилось, а если бы и разбилось, то разбились бы его дед и баба, и тогда все бы пошло иначе, по своим мировым стандартам, и деду и бабе плакать бы не пришлось, и жили бы они, как это принято говорить, припеваючи...

И что самое главное в этой истории, — мляка виляет хвостиком потому, что она недовольна дедом и бабой, у которых где-то там за кулисами должна быть конка, ей подавай

свободу и тогда она подумает, стоит ли ей вылить хвостиком или нет.

Короче говоря, эта мышка — странная поборница правды, и она скорее может поверить, что яичко может быть золотым, а если и не поверит, то хвостиком уж обязательно выльнет.

Так вот — вы, молодой человек, находитесь в положении мышки, ведь я уверен, что вы, как и мышка, думаете, что золотое яичко может снести курочка Ряба и все это в конце концов не такой уж блеф.

— Да, — говорю, — может, хотя это все лишь просто-напросто сказка.

— Так вот, — говорит, — уважая вашу молодость и ваш нестойкий духовный инструмент, я делаю вам, как ваш начальник, устный выговор.

А если подобное повторится, я буду вынужден требовать у вас удовлетворения, а в секунданты придется взять местком, профком и вышестоящие организации, кончая председателем Совета министров. Что вы на это скажете?

— Что я на это могу сказать, — говорю, — я быстро взгляды свои не меняю, и хотя и никогда не задумывался над русской народной сказкой, но имел с ней непосредственное общение в детстве. Надо отдать вам должное, мне показалась интересной ваша мысль о мышке, хотя в простой обычной домашней жизни мне более симпатична курочка-неструшка, чем какая-нибудь серая полевая мышь.

И поэтому я постараюсь обдумать все выше вами сказанное и постараюсь честно высказать свое мнение, но на это потребуется некоторое время.

— Что же, — говорит, — думайте, это ваше дело, думайте. Но меня меньше всего интересует ваше честное мнение, потому как по закону диалектики честность всегда приводит к неискренности и наоборот и так далее и без конца... Одно я вас скажу, молодой человек, не идите против ветра, этой мощной природной силы, способной вертеть мельницы и даже разрушать дома, будьте в конце концов реалистом, ибо ваш возраст отдает одним измом, сиречь романтизмом, а все романтики, насколько мне известно, были пьяницы и идеалисты, что в наш трезвый вес сурового практицизма кажется смешным и неприемлемым...

После этих слов мой шеф посмотрел на меня тем насмешли-

вым взглядом, от которого мне стало как-то не по себе, и тут я почувствовал, что мне не удержаться, я не могу не соврать, может быть потому, что очевидность его ложного превосходства для меня была слишком явной. И надо сказать, я от этого стал получать особое наслаждение.

— Вы знаете, Борислав Борисич, — вдруг сказал я ему, — вы можете теперь меня поздравить. Я теперь получаю наследство.

— Какое наследство? — спросил он меня, и не без удивления спросил. — Откуда?

— Да вот, — говорю, — как оказалось, я наследник и крупный наследник. Как оказалось, мне привалыло большое счастье: мой дальний родственник, а вернее, двоюродный дедушка, прожив одинокую жизнь эмигрантом, оставил мне довольно крупный капитал — два миллиона и ровно три цента.

И вот я теперь обладатель этого состояния, надо сказать, я не столько рад первой его половине, сколько меня приводит в восхищение вторая часть этой великой суммы.

Три цента, какая арифметическая точность! Какое капитальное отношение к своему капиталу! И все это обычно, легко и как-то в порядке вещей!

— Что уж тут удивляться, — сказал мой шеф. — Большие суммы всегда имеют свойство тяготеть к некоторой неокругленности. Ибо только эта неокругленность, очевидно, и позволяет так увеличивать и так округлять капитал. Вот, скажем, принеси я в сберкассу одну копейку — засмеют. Как, скажут, будем мы возиться с такими грошиками. А одного не понимают, что без копейки и рубля нет. Но что вы будете делать с этими деньгами? — не без интереса спросил он меня.

— Как что? — говорю. — Первым делом заведу любовницу и куплю ружье.

— Ну, любовницу, — говорит, — любовницу в наше время можно завести и так. А зачем же вам ружье, когда, как известно, вы мне недавно говорили, что охотником быть не собираетесь и что охота — это вообще убийство?

— И правильно говорил, — говорю, — я им и сейчас не собираюсь стать. Просто, как без трех центов моего дедушки наследство не совсем наследство, так и любовница без ружья — не вполне любовница.

Не без внутренней усмешки я увидел на лице моего шефа нескрываемое удивление.

- Я что-то, молодой человек, вас не понимаю, - сказал он, - как, впрочем, и всегда не понимал. Я бы на вашем месте деньги бы в банк положил, а из банка индულгенции бы получал в виде крутящих купюр и то бы не каждый день, а так, изредка, по субботам, и так бы растягивал свое удовольствие...

- Что ж, - говорю, - тут не понимать, когда это красиво. И самое-то главное, что не имей я этих денег, я бы и не додумался до этого ружья, то есть до соединения его с любовницей. Шроты бы не хватило. Завел бы это как-нибудь раздельно, что-нибудь одно: или ружье или любовницу, или просто просаживал бы свои трудовые деньги на различные материальные нужды. А как я узнал, что я обладатель этой суммы, так сразу у меня фантазия. А где фантазия, там и красота.

- Нет, - сказал мой начальник, - что-то я не понимаю вашей красоты, и хотя я от вас всего мог ожидать - это мне не понятно.

Я усмехнулся, и если не вполне открыто, то наверняка торжествующе.

- Да и вполне резонно, что не понятно, - сказал я, - я как-то вам уже говорил, что вы хоть и мой начальник, но в идеальной красоте никогда не разбирались и, очевидно, вам и понять ее не дано.

Тут вот в чем соль, Борислав Борисич, тут соль в том, что не имей я этих двух миллионов, я бы, может, так совсем и не думал, а если бы думал, то чутьчку не так, а теперь, когда это привалило, я в иной, так сказать, плоскости, в ином, так сказать, масштабе. Тут дело все, Борислав Борисич, в масштабах. Масштаб, Борислав Борисич, строится на очень простых принципах: деньги и власть. Тот, кто этим обладает, у того крупный масштаб - тот стремится к единице. А у кого нет того и другого, тот скатывается к нулю. Вот вы, например, теперь для меня один к миллиону, а раньше, может быть, были один к десяти, а все потому, что мой масштаб изменился. Вопрос только в том, что в наше время из чего может

вытекать: деньги из власти или власть из денег. Я, например, склонен думать, что первое, а второе имело место не в наш век, что по известным причинам и привело к тому, что мы сейчас и переживаем, то есть опять же к первому.

— Да, — сказал мой шеф, как-то желая оставить в стороне мою мысль, — над этим стоит подумать. В этом есть свое "я". Деньги в наш век имеют немаловажное значение.

— Да еще и какое значение, — сказал я. — Не имей я их, я, может быть, и не вспомнил об этом ружье, так бы и прожил всю свою жизнь, не подхватив идеи...

— Далось вам это ружье, — перебил он меня и не без раздражения перебил. — Вы, молодой человек, лучше подумайте, как вы будете ходить в миллионерах. Это куда интереснее. Вы не бойтесь, что в наше время у вас эти миллионы кто-нибудь и отберет.

— Нет, — сказал я. — А чего бояться. Если и отберет — и в этом будет свой смысл, а следовательно, и своя красота. Ведь если подумать, если кто и отберет, то отберет уже после того, как я уже стал миллионером.

— Да, странно, очень странно, — сказал мой начальник. — И что самое странное, я никак не могу понять, чего вы собственно хотите, молодой человек? Что вас, собственно гнетет? Почему вы все хотите поставить с ног на голову?

— Да, — говорю, — мне и самому теперь немного как-то странно. Я только одно теперь знаю, чтобы крепче стоять на ногах, иногда стоит постоять и на голове, потому как от долгого стояния на ногах, забываешь о голове и больше думаешь о ногах. А ведь, Борислав Борисич, по сущности по своей, голова прежде всего должна думать о голове, а уж потом о чем-нибудь другом, как-то печени, сердце и легком, я уж не говорю о желудке, этом прозаичном, хотя и очень необходимом элементе человеческого существования. Ведь согласитесь же, когда голова думает о печени, значит с печенью что-то не в порядке, значит, желтуха какая-нибудь или холера или что-нибудь такое.

— Ну и ну, — только покачал он головой и на этом наш разговор как-то сам собой прекратился.

Весть о том, что я получил крупное наследство, вскоре стала известна в нашем отделе.

Речь зашла о том, кто бы согласился стать миллионером, а кто бы не согласился. Одни стали кричать — да, а другие — нет. Тут из двух групп — сколотились и третьи, которые не говорили ни да, ни нет, а продолжая работать, помалкивали. И надо сказать, эта группа возымела преобладающее значение в нашем отделе.

Но тут на шум из своего кабинета вышел начальник, и, узнав отчего шум, потребовал от меня объяснения, до каких, мол, я пор намерен разлагать коллектив: "Вы разлагаете коллектив, — сказал он. — А я этого не потерплю".

И я не замедлил встать из-за своего одностумбового стола, чтобы опередить надвигающиеся события, не позволив унижить сотрудников отдела исповедью, смысл которой будет прояснен; что это за коллектив такой, который не может вывести на чистую воду одного негодяя.

— Вы знаете, — с чувством собственного достоинства начал я, — вы знаете, Борислав Борисич, я должен заранее согласиться с тем, что вы мне сейчас скажете. Борислав Борисич, после недолгого размышления я пришел к выводу, что мне теперь здесь, в нашем отделе, делать нечего, раз мне так повезло, так привалило, и поэтому я прошу у вас увольнения, то есть расчета, письменное заявление, очевидно, я не замедлю вам вскоре предоставить.

Шеф с удивлением и явным любопытством смотрел на меня. Что он обо мне думал? Догадывался ли он, что я вру или нет? Этого я не могу сказать, и по всей вероятности так и не скажу.

— Молодой человек, — с улыбкой сказал он, — как вы знаете, я никогда не питал к вам особой склонности, я уж не говорю о симпатии — этой подвижнице дружеских отношений, хотя некоторые (тут он усмехнулся) представлявшие неожиданность субъекты всегда понимали меня. Кто они — думал я. Откуда они? И какова их природа? И что порождает их? Что порождает их в наше время, которое ничего подобного, кажется, породить не может? Вот те мысли, которые меня занимали и, надеюсь, будут занимать, потому что жизнь, наше существование посылает нам одно из любимейших занятий: наблюдать за жизнью себе подобных.

И поэтому с некоторым удивлением я подшучу вашу заявление: одно мне очень любопытно, чем вы будете заниматься?

Я улыбнулся, тем самым возбуждая еще больший интерес сослуживцев к моей особе, и продолжал в том же духе:

— Борислав Борисич, поле моей деятельности точно еще не определено. Одно я могу вам сказать: оно будет прекрасным. Как я понимаю это слово? Не знаю, оцените ли вы мои слова, потому что вы никогда не могли меня понять, и как я уже говорил, вам, очевидно, и не дано их понять, вследствие вашей целенаправленности, а именно вы всегда были заняты созданием материальных благ, я имею в виду всем известную продукцию, над созданием которой мы здесь все успешно работаем, но все-таки я постараюсь вам все объяснить.

Борислав Борисич, прекрасное само собой подразумевает прекрасное, то есть то, чего нет в нашей обычной жизни, то есть то, что прекраснее этой обычной жизни. Вы скажете — это фантазия. Да — фантазия. Вы скажете — это ложь. Да — ложь. Но какая ложь, Борислав Борисич, какая фантазия? Вы улыбаетесь. Вам смешно. Мне тоже смешно. И вот этот мой смех я ни за какие блага не променяю. Смех — вот это слово! Смех — вот что действительно может быть прекрасно. Смех, способный разрушать и созидать. Все в этом смехе. А главное — ощущение собственной непричастности к остальному миру. Вот вы, мол, исполнитель, работаете ради куска насущного, а я сижу дома, передо мной чашка колумбийского кофе, сигарета дымит, и я смеюсь. Я мысленно стравливаю президента одной страны с другой и смеюсь. Я пускаю от имени одного государства другому государству ультиматум и смеюсь. И все это у меня дома, не выходя из квартиры, с миллионом в кармане. И я буду смеяться, буду смеяться и тогда, когда все вокруг будет рушиться, даже в последних содроганиях будет рушиться, даже в последних содроганиях буду смеяться.

— Ну что же, — перебил меня с раздражением шеф, — очевидно, так уж мир устроен: кто-то работает, а кто-то смеется. Вот только надолго ли вас хватит?

— Это уж я постараюсь, — сказал я, — хотя мало что зависит от меня. Тут, Борислав Борисич, скорее вопрос лич-

ности. Способна ли она воплотить идею? Гениальна ли она? Или просто так — обычная бытовая мелочь. Этого я еще пока не знаю.

— Что ж, — сказал мой начальник напоследок и не без некоторого злобного оскала, — когда вы это узнаете, боюсь, что вас кто-нибудь уже раздавит.

— Раздавит так раздавит, — засмеялся я. — Чего уж тут бояться, главное — чтобы во время раздавило, главное — было бы что давить.

Я, кивая головой по сторонам и говоря то одному, то другому сослуживцу "ауфидерзеен", я поспешил выйти из отдела.

Странное чувство наслаждения и некоторой неуверенности испытывал я в минувшем разговоре. И главное — я не знал, что я буду говорить, с чего собственно начинать. Впоследствии, вспоминая все это, я только диву давался, откуда я это выдумал, откуда во мне это появилось. А вот явилось из, произошло и все это с вдохновением, я бы сказал, с некоторым биением пульса.

А сказки я правду — получилась бы скучно, и безнадежно скучно. Да и что говорить: "Да, Борислав Борисыч, будет сделано. Нет, Борислав Борисыч, какой же смех, да еще во время работы".

А тут такой фейерверк остроумия и даже ума. Вот чего я в себе не замечал до тех пор, пока не стал врать.

Одно только меня смущает и даже как-то настораживает: уж больно я и в самом деле вру, не завраться бы совсем, когда уж не знаешь — врешь ли ты или не врешь, есть ли это на самом деле или нет? А если я заврюсь, что тогда?

Ведь тогда я не буду знать, говорю я правду или нет, контроля не будет. А раз контроля нет, значит, безумен. Значит, изволь отправиться в сумасшедший дом обдумывать собственное положение. А уж где тут обдумывать, когда и сам не знаешь, сумасшедший ли это дом или Малый оперный, хотя причем тут Малый оперный? Ведь не все же в конце концов сумасшедшие должны петь в опере, могут они в конце

концов петь и в оперетте. Вот что меня пугает.

И еще одно: ведь с того самого момента, как я встал из-за стола перед начальником, до этого самого момента я вовсе не думал увольняться с работы, а тут ноги, теперь увален, изволь жить миллионером. И ведь с миллиона своим не знал и не думал, а просто думаю: дай совру, и стоило заговорить — сразу миллион, а причем тут миллион, когда миллиона никогда до самой гробовой сосны и не будет. И что самое интересное — не соври я, так моя жизнь и катилась бы тихо и спокойно, а тут еще неизвестно куда меня приведет и что со мной будет.

Это же чувство неуверенности и какой-то отчаянной решимости испытывал я, когда, получив в кассе восемьдесят два рубля, заработанные мною, как это принято называть, честным трудом, я вышел из двери нашего института, которая, ужасно проскрипев, ударила мне под зад, на что я только был вынужден отмыкнуться и в досаде почесать себе затылок. Лето было в полном разгаре и утреннее солнце ласково заглянуло мне в глаза, когда я вышел на солнечную сторону улицы.

Я подпрыгнул, окрестив ноги, а потом, весело петляя этими же ногами, двинулся по улице.

Наконец-то я был один. Наконец-то я был свободен.

Однако некоторая неуверенность все же была у меня в душе, и даже шоколадное мороженое и выштык два стакана газированной воды не заглушили эту неуверенность, как и не заглушили то чувство радости быть наконец вне всяких рамок и преград.

Рамки и преграды, рогатки и препоны — я всегда чувствовал их, начиная еще со школьной скамьи и кончая своим последним местом работы. Я чувствовал всегда страх и вину, даже и тогда, когда меня хвалили. Может быть, я уже и тогда чувствовал себя виноватым от того, что знал, что и мне суждено иное предназначение, иной, так сказать, жизненный путь, где в полную силу развернутся все мои способности.

— Неужели, — часто думал я, сидя за своим рабочим столом в отделе, — неужели я так и проживу печальной мухой за стеклом, когда в мире и вокруг так много солнца.

Полянки, залитые солнцем, лужайки, остронки и речки

привлекали меня, и сразу не скрывая, мне хотелось резвиться на них. Работать изо дня в день — эта мораль была для меня всегда неприемлемой, и не потому, что я был лентяй или какой-нибудь там злодей, принципиально отказывающийся работать.

Нет, просто еще в глубоком детстве, рассматривая книжки и видя, как на картинках летают бабочки и жуки, мне и самому хотелось сойти на эти картинки и превратиться в лубую некрасивую лягушку или мотылька, или, разденувшись догола, выбежать в лес и в поле, где, набегавшись и нарезавшись, отдыхать в прохладных травах.

Очевидно, так я был устроен, таково было мое воспитание и заложенная во мне духовная конструкция, что моя работа мне казалась скучной и непривлекательной. Или, быть может, где-то я обонял свой талант или его обонял, и он так и остался, так и не смог себя проявить, не смог развернуться.

Вот поэтому мне иногда, особенно во второй половине рабочего дня, сидя за столом, нестерпимо хотелось раздеться и, пробежав голым по отделу и по коридорам нашего научного института, выбежать на улицу: "На, принимай меня, мать-природа, в чем ты меня родила, в том и принимай".

И теперь я был свободен — так по крайней мере я подумал, когда я вышел на улицу. Но так ли? Свободен ли? Откуда это чувство неуверенности, о котором я уже говорил и которое с каждым часом разрасталось.

— Позвольте, а что, собственно, я буду делать? — само собой лезли в голову дурацкие вопросы. — Что я буду делать, когда у меня кончатся эти мои трудовые деньги, эти насмешливые восемьдесят два рубля?

Все эти вопросы несколько часов занимали меня, и по прошествии этого времени я разом их отбросил.

— Будь что будет, — решил я. — Почему бы и мне не пожить тем пошловатым кучником, тем веселым миллионером, который на досуге покупает себе ружье и соответственно этому ружью заводит себе любовницу: ведь и дорогой собаке необходим дорогой ошейник.

Знакомый шуршит денег в кармане как бы возвестил о начале моей "авантюры". Я подпрыгнул и правой ногой уда-

рыл по небольшому камню. Камень, свистя и описав дугу, попал в колесо проходившего мимо автобуса и, отскочив, больно ударил меня по ноге.

- Эврика, - воскликнул я и, чуть прихрамывая на ходу, поспешил к спортивному магазину. По дороге я уже чувствовал стальной холод дула у себя в затылке.

В магазине я долго терся у прилавка, рассматривая различные охотничьи принадлежности. Должен сказать, я впервые проявлял интерес к подобным предметам и они произвели на меня особое впечатление.

Глядя на уйму различных предметов, как то: рюкзаков, дробь, гильзы, пилей, зажимов и какой-то дотоле мне неизвестной охотничьей оснастки, перечисление которой являлось бы скучным занятием, я удивлялся широте человеческой деятельности.

- Да, восклицал я сам себе и не без пафоса. - Какое удивительное создание человек и в какие только дебри познания и деяния он не забирался. Какие уловки он построил, чтобы только господствовать над природой. Начиная с простого охотничьего ружья и кончая современным странным оружием. Тут я поймал себя на мысли: "Ах кто я в этом сонме бесчисленных человеческих существ, какой дар я вкладываю в это общечеловеческое деяние? Кто я? Охотник или убивающий на лету птицу или тот, кто отстраняет уже стреляющее ружье от намеченной жертвы.

Или, может быть, я тот, кто спокойно созерцает, как убийство, так и милосердие отстраняющего, наслаждаясь созерцанием того и другого.

- Да, сказал я сам себе, - становиться охотником или кем-то противоположным ему - это две крайности, присущие человеческой ограниченности.

Только собирая разом все вместе, только спокойно рассматривая их как нечто испокон веков присущее человеку, я могу сохранить свое человеческое "я", то есть способность к дальнейшему своему совершенствованию.

- Неужели, - думал я, - человек, современный человек, может быть только одним из механизмов, одной клеткой всеобщего

человеческого организма? Неужели он не способен охватить все виды деятельности, а остается токарем или инженером по теплооборудованию? Ведь тут противоречие. Ведь мало ему быть только тем-то и тем-то. Ведь хочется ему быть все тем. Или только фантазия позволяет ему воплотиться в того, или другого, давая ему наслаждение, может быть, сильнее, чем его человеческий род деятельности.

Что же мне делать? Служить ли predetermined мне ограниченности, признавая некоторое совершенство этой ограниченности, а следовательно, снова вернуться в отдел, чтобы прилежно работать над созданием материальных благ, постепенно становясь ярким поборником правоты и справедливости определенных догм, которые, несомненно, способствуют возможности человеческого существования?

Или как-то постараться охватить все виды человеческой деятельности, если и не прямым действием (не идти же мне в конце концов в ассенизаторы), а мысленно, то есть посредством фантазии. Все эти вопросы разом обступили меня и я надолго застыл у витрины, тем еще раз подтверждая высказанную великими людьми истину, что мышление отнюдь не способствует деятельности.

— Молодой человек, — вдруг я услышал над своим ухом один из приятнейших женских голосов, — вы что-то хотите купить?

Я покраснел, как будто меня уличили в небольшом преступлении, во мне происходила немая борьба — покупать или не покупать — и этот голос как бы мне напомнил, что надо принять в конце концов какое-то решение.

— Мне ружье, — сказал я, поднимая глаза и видя перед собой по ту сторону витрины девушку, примечательность которой не выходила за рамки общности. Как присущее ей индивидуальное качество, я отметил родинку над верхней губой и то, что эти обычные компоненты создают ее образ, образ индивидуума, женщины, а не только продавщицы охотничьего отдела.

"Ведь у нее есть душа, и может быть, и она способна мыслить и понимать прекрасное? — моментально пронеслось у меня в голове. — Ведь у нее, возможно, за внешней банальностью туалета и одежды бьется чистое сердце. Ведь банальность

-то ее, может быть от бедности, от занимаемого в обществе положения.

- Какое вы хотите? - спросила она меня, показывая взглядом на стоявшие за прилавком ружья.

Первое, что я увидел, были цифры: восемьдесят два рубля, шестьдесят девять, сорок семь и еще была какая-то трехзначная цифра, на которую я не обратил никакого внимания и поэтому не запомнил.

- Мне подешевле, - сказал я дрогнувшим голосом, выдавая всю свою неосведомленность в ружейном деле.

- Вот это самое дешевое, - сказала продавщица, взяв одно из стоявших ружей и положив его за застекленную витрину передо мной. - Сорок четыре рубля.

Моя рука невольно скользнула в карман и я снова услышал знакомый мне хруст денег.

Не глядя на продавщицу и на ружье, чтобы еще раз не выдавать свою неосведомленность и все мои сомнения, и даже произившую меня, весь мой организм, так что я вскоптел, жадность, то есть незелание тратить много денег на эту сумку для меня безделушку, на это двухствольное ружье, калибр которого так до сих пор мне и остался неизвестен. Да и что толку, если бы мне сказали калибр - я был настолько некомпетентен в этом вопросе, что скажи мне калибр 12 или 17, где-то я слышал, что существуют такие калибры, я бы только усмехнулся, так и не отдав предпочтение тому или другому.

И кроме того ведь я еще не знал, на кого я буду охотиться: на водолавающую ли птичку или на медведя, а вернее всего я вообще не собирался ни на кого охотиться. Ружье мне было нужно, как я уже говорил, как дополнение к любовнице.

И поэтому, не глядя на ружье и на продавщицу, я быстро проговорил: "Я беру. Заверните, пожалуйста".

- У нас ружья не заворачивают, - сказала она мне тем общепринятым тоном, от которого на лету мрут мухи, а люди нервные и малкие начинают кричать и дергаться.

Я промолчал, тем самым выиграв уже готовый начаться между нами поединок, который ни к чему хорошему, кроме обмельчения человеческих чувств, не привел бы. "Я был о вас лучшего

мнения, — подумал я про нее. — Ну что ж, живите..."

И высоко и победно держа голову, я направился к кассе, где выхватил из кармана восемьдесят два рубля и кинул их в окошко.

— Сорок четыре рубля, — небрежно сказал я, взглянув на кассиршу, а в ответ мне блеснули стекла роговой оправы: "Сорок четыре..."

Я услышал шалест отсчитываемых денег, вслед за этим стук, напомнивший мне стук пиющей машинки, а потом что-то загрохотало, забурчало в машине и вот чек с оставшимися тридцатью восемью рублями лежал передо мной.

— Сдача. Тридцать восемь рублей, — сказала мне кассирша, еще раз блеснув стеклами очков, и тем самым как бы указывая на деньги.

— Любовница. Тридцать восемь рублей, — сказал я сам себе, направляясь с чеком к прилавку, где двумя стволами, как двумя адскими черными отверстиями, в которых гуляет и свистит ветер, смотрело на меня много купленных и уже отныне мое ружье.

По приходе домой я вбил гвоздь в стену над тахтой и повесил ружье на этот гвоздь. Надо сказать, я старался не смотреть на него. Не знаю, почему это происходило, но два ствола действовали на меня как взгляд блестящей женщины: чувствуешь, что попался, что виноват, что ты, наконец, ничтожество.

Так вот, повесив ружье на стену, я лег на тахту и предался размышлениям. Ноги мои были полусогнуты, одна нога покоилась на другой, спина моя возлегалась на подушке, а в руке у меня была сигарета, которая, сладостно отравляя мой организм, помогала мне размышлять и фантазировать.

— Ах, — думал я, — Как прекрасна жизнь, как, черт возьми, прекрасна. Ведь как мало человеку в этом мире надо: купил ружье, повесил его на стену — и счастлив. А раз счастлив, значит, един со всеми, значит человеческая гармония осуществилась, так чего же больше желать, значит человек может спокойно себе сказать: да, не напрасно я живу на этой

земле, а раз не напрасно, значит можно спокойно в любое время и умереть.

"Умереть" - вот это слово, которое меня постоянно пронзает своей гипнотической кутью. Рассматривая эти два понятия - жизнь и смерть, я всегда удивлялся, что смерть - вершительница человеческих жизней, что жизнь всегда на повлуду у смерти. Это соотношение мне представлялось довольно обычной картиной: застывшая в царственной позе змея с целенаправленной головкой и переваливающаяся и упирающаяся, но ползущая навстречу своей гибели лигушка, орущая страшным и почти человеческим голосом.

Невольню возникала мысль: "Каким же голосом кричит человек, чувствуя приближение смерти, уж не пронзительно ли режущим голосом того животного, зародком которого пожом на месячный зародок человека?"

Так или иначе все эти мысли о смерти заставили меня снова взглянуть и тотчас же отвести взгляд от ружья.

- Да, черт возьми, - подумал я, - купить ружье - это все равно что повесить над своей головой бомбу, взгляд на которую рождает всего лишь единственную мысль: "Помни о смерти".

Приподнявшись, я снял ружье с гвоздя и, соответствующим образом надломив его, заглянул в два уходящих, но все же имеющих выход стальных туннеля. Что они напомнили мне, когда смотрел на них? Что-то давно забытое, мелькающее где-то далеко в подсознании, как будто нечто подобное я уже видел в совсем иной какой-то жизни, в прежнем каком-то своем воплощении. Мне показалось, будто я стою в персидском халате на стенах Самарканда и подобным же образом заглядываю во внутреннюю полость этого не страшного по нашим временам орудия убийства.

Да, так оно и было, ибо ощущение пронизывающей сладостной куты и радостное предвкушение охоты было когда-то во мне, ведь я точно знал, оно уже было когда-то. И хотя я с точностью не знал, был ли мой предок на стенах Самарканда, я относил это к области моей фантазии (хотя почему Самарканда, а не Барселоны?), то ощущение, что я подобным же образом заглядывал в ружье, было явным.

Впрочем, ружье и связанные с ним развлечения не долго занимали меня, скажу даже, что они занимали меня совсем мало, я как-то охладел к нему и по прошествии некоторого времени я уже мог спокойно смотреть на ружье и даже довольно со скукой.

Что я находил в нем раньше привлекательного? Почему до того, как я стал его владельцем, оно казалось мне чем-то особенным? Вот те мысли, которые быстро охладили мою любовь к покупке.

Только одно сохраняло некоторую привязанность к этому нехитрому предмету убийства: мысль о том, что ружье — это только часть задуманного мною, но не выполненного плана, второй частью которой была любовница.

"Любовница" — это слово меня повергло в глубокое смущение, ибо само его звучание казалось мне каким-то грубым и антиморальным.

Кроме того смущение вызывалось и тем, что, оставаясь в сфере морали, я, можно сказать, так и остался внутренне девственником, ибо редкие случайные события с женщинами не могли повлиять на мое духовное развитие.

Должен прямо сказать: я никого не любил.

И поэтому слово "любовница", которое мне рисовало, кроме сладостных грез и объятий истинную великую любовь, повергало меня в глубокое смущение, а может быть, даже в отчаяние.

— Неужели я так никогда и никого... — с отчаянием думал я, — Неужели я так никогда никак не буду любим?

И вот теперь мне предстояло "ее" найти.

Найти — искать. Я понимал, что чем больше я буду размышлять об этом, тем дальше будет удаляться от меня желаемый идеал, никоим образом материально не воплощаясь.

И поэтому, встав с тахты и надев свой новый костюм цвета светлого невылинявшего хаки, повязав на белую рубанку галстук пурпурного красного цвета, я в блестящих от крема коричневых туфлях вышел на улицу.

Мой дом, то есть дом, в котором я живу, находится недалеко от Невского проспекта, которые в свое время был центром города. И все-таки он и сейчас центр города и останется им, очевидно, навсегда, пока будет существовать этот северный цветок, имеющий свойство распускаться весной и летом зеленой

лиственной многочисленных своих садов, а осенью и зимой тонуть во мраке серых туманов, так что желтые огни вечернего освещения кажутся ограниченными световыми пятнами. Так бывает поздней осенью или зимой, а сейчас было лето, июнь стоял теплый и солнечный, на Невском пахло земляничкой, а женщины разноцветными бабочками проплывали мимо.

Женщины — я всегда их относил к какому-то возвышенному роду существ, лежащему за пределами человеческой особи, мне всегда они казались похожими скорее на бабочек или других воздушных созданий, хотя я и понимал, что я недостойно идеализирую шаловливых любительниц буше и эклеров.

Так или иначе я вышел на Невский и стал медленно проходить по правой стороне проспекта, не глядя ни на магазины, ни на витрины, ни туда, где что-то продавалось с лотков, я смотрел на проходивших мимо женщин.

— Вот они чудесные создания, приподнявшиеся над касду-как и тем самым показывающие одну из обольстительнейших частей тела, ногу, во всей ее прелесть и красоте, выбирай любую (не ногу, конечно).

— Выбирай любую, — повторял я, то и дело заглядывая в их открытые женские лица, ища в них осуществление того идеала, который я создал за годы фантазии, находясь наедине с самим собой на этих двенадцати метрах коммунально-квартирной площади, соответствующим образом развалился на тахте и положив под голову подушку.

Странное дело, мне всегда казалось, что то, с чем я думаю, моментально узнает тот, на кого я мысленно обращаю свой взор, и родственная душа соответствующим образом должна меня понять и по достоинству оценить.

Так и в этом случае мне все казалось, что вынырнувшая из толпы прекрасная незнакомка, встретившись с моим взглядом и оценив его по достоинству, просто-напросто подойдет ко мне и скажет: "Пошли", и кроме того даже назовет меня по имени.

— Пошли, Евгений, — скажет она, а куда пошли, это уж не будет иметь никакого значения.

Но этого, к моему огорчению, не случилось, этого, к моей печали, не произошло, и я промешествовал от начала Невского, то есть от Александро-Невской лавры до самой Дворцовой площади, так по-прежнему оставаясь наедине с самим собой.

В глубоком размышлении я остановился над Александрийским столпом.

Александрийский столп — как часто я его видел в дни поздней осени, когда только ангел с крестом проступал сквозь туман, как часто я наслаждался своим взор в солнечные зимние дни, когда он покрывался серебристым инеем...

Но это было когда-то, а сейчас взгляд на него оставил меня совершенно равнодушным, хотя я и понимал, что это равнодушие происходит не без известных на то мне причин.

Я только сказал, обратившись к нему, как к старому знакомому:

— Стоишь, брат? Ну и стой? Сегодня стоишь, завтра стоишь, а послезавтра еще неизвестно — будешь ли стоять.

На что, разумеется, он мне ничего не ответил.

— Такова история, — продолжил я свою мысль, — человечество с легкостью отказывается от прошлого, упоная на лучшее будущее, тем самым забывая о настоящем...

Так я стоял под Александрийским столпом, слегка оперевшись на него и скрестив руки, предаваясь размышлениям, пока одна единственная мысль не оформилась у меня в голове:

"А что я собственно здесь стою под классической формы камнем с крестом и ангелом во главе, что я собственно здесь стою, когда любовница уже есть, уже идет меня, достаточно мне только первому сделать решительный шаг — и она будет моей.

Да, она будет моей, я это точно знаю, она будет моей — эта очаровательная блондинка с насмешливыми глазами, эта Джина Лолобриджита коммунально-квартирной системы".

Эта мысль до того меня восхитила, что я мысленно уже вкушал все прелести моего будущего знакомства.

"Да, да, — думал я, — вот она моя избранница, вот она моя прекрасная находка. И теперь я знаю, что мне надо делать. Я подойду к ней на кухне ибо где же еще лучше это сделать, как ни на кухне, среди всех этих кухонных запахов, ароматов и паров; я подойду к ней и скажу: "Вера Александровна, в чем же дело? Мне двенадцать три, а вам тридцать, в чем же дело? Ведь по сущности-то своей, мы, если уж как следует разобраться, давно уже некоторым образом соединены, проживая

бок о бок, так сказать, здесь в нашей коммунальной квартире, разделенные лишь какой-то незначительной перегородкой, ими которой — стена.

Так почему же нам не приложить совместные наши усилия, для того, чтобы еще как можно ярче и больше разгорелось наше совместное единение?"

И вот я был уже дома, уже лежа на тахте, уже положив ногу на ногу, я предавался тем размышлениям, а вернее тем представлениям, которые доставляли мне свое особое наслаждение, и надо сказать, это состояние для меня было не новым.

Я представлял ее, то есть мою избранницу, со всеми ее мягкими формами, со всеми ее ласковыми выступами, мысленно опускаясь от ее прекрасного лица, от задорно подрагивающих и весело глядящих во все разные стороны маленьких грудей до того блаженного места, где начиналось сладостное междуножье.

"Я так прямо ей и скажу, — думал я, — Вера Александровна, в чем же дело? Я не урод, и кроме того у меня есть масса несомненных достоинств, о которых я не могу умолчать, а именно: доброта и простодушие".

Встав с тахты и запахнувшись в халат, так что я одной рукой придерживал полу, чтобы он не раскрылся, чтобы я случайно не предстал обнаженным, и кроме того, надев на босу ногу домашние тапочки, я, прилепывая ими по коридору, направился на кухню.

Быть может, для кого-нибудь такой мой облик покажется слишком импозантным, но таким я всегда выходил на кухню, так что моя соседка давно уже к нему привыкла и таким она меня всегда и представляла, о чем и не преминула мне со смехом рассказать.

Так вот, придерживая рукой полу халата, так, чтобы он не распахнулся, я вышел на кухню, где при входе обычно громко здоровался, но на этот раз решил промолчать, а незаметно подойдя к той, что стояла ко мне спиной, склоненная над кухонным столом, держа в одной руке картонку, а в другой лоск, страшное лезвие которого весело поблескивало на солнце.

Подойдя к ней со спины и склонившись над ее маленьким ухом, и дыша в это ухо сквозь увлажненные страстью губы, губы потомка Иафета, я сказал:

— Вера Александровна?!

Она удивленно подняла на меня свой взгляд, подобное обращение по имени и отчеству было ей не знакомо.

Я в остальные минуты наших совместных встреч называл ее просто: "Верка".

— Ах ты, Верка-инженерка, — говорил я и указательным пальцем имел свойство ткнуть ее куда-нибудь в бок, на что со смехом получал ответный укол.

— Вера Александровна, — сказал я торжественно, хотя и не без улыбки. — Вера Александровна, в чем же дело? Видит бог, мы не дети. И пора вам подумать, как и мне, о продолжении наших мирных соседских отношений.

Вера Александровна, я давно хотел вам выразить одну единственную мысль, которую не решился открыто высказать, а вот сейчас решил. Короче говоря, Вера Александровна: любовница!

Я увидел на ее лице удивление, потом легкая усмешка раздвинула ее полные и потому еще более сладострастные губы; надо прямо сказать, она была великодушна.

— Евгений Владимирович, — сказала она тем тоном, каким говорил и я, только в нем был еще маленький кусочек льда, холодный маленький кусочек льда в рюмке жарко дымящего спирта. — Евгений Владимирович, вы что с ума сошли или мне это показалось? Как вы смеете со мной так разговаривать? Со мной, которая, во-первых, старше вас (она улыбнулась), а во-вторых, гораздо опытнее в известных вам некоторых моментах любви. Уж не хотите ли вы стать моим любовником?

Она нервно засмеялась и так засмеялась, что я незаметно для себя стал вторить ей.

— Уж не хотите ли вы, чтобы я вас любила, Евгений Владимирович? Или, как это у вас называется, отдаюсь вам? Вам, который всегда стоит передо мной в тапочках на босу ногу, в этом старом халате образца двадцатых годов.

Она расхохоталась и расхохоталась так, что легкий озноб являрицей пробежал по моей спине и, пробежав, исчез между ягодиц.

Не могу не сказать, чтобы он не был чувственным.

— Вера Александровна, — сказал я и тут почувствовал удивительное желание соврать, ибо видимость ее ложного превосходства для меня была слишком явной.

- Вера Александровна, - сказал я. - Я, конечно, могу тысячу раз извиняться перед вами за столь неожиданное вторжение в вашу жизнь, но видит бог, с некоторых пор я имею намерение стремительно продвинуться по службе и, продвинувшись, соответствующим образом получить некоторую сумму, которая может дать нам безбедное существование, и кроме того даст возможность иметь несколько человек детей, и поэтому, чтобы доказать вам мое всегдашнее благородство, я отказываюсь от первоначального плана и предлагаю замужество.

Вера Александровна, замужество! Вот что нас может объединить, и, соединив, так сказать, официальным образом, одухотворить.

Вера Александровна! - Одухотворить!

- Как, мне? - засмеялась она мне в лицо. - Вы мне предлагаете замужество? Да что мы с вами будем делать, Евгений Владимирович? И способны ли вы, Евгений Владимирович, быть мужчиной?

- Как что делать? - усмехнулся я и не подал вида, что был несколько ~~смущен~~ все же задет ее словами, ибо я всегда был уверен в моих мужских превосходствах.

- Как что делать? Что делает женщина, когда она выходит замуж за человека, у которого, помимо двухствольного ружья, есть еще машина, дача, трехкомнатная квартира и кроме того некоторая сумма, имеющая свойство округляться. Что делает такая женщина, Вера Александровна? Она рождает детей!

Я улыбался и видел, как усмешка исчезла с ее лица, а в глазах, в ее женских глазах, остановилось если не злое, то ценное выражение.

И чтобы опередить эту женскую злость, чтобы не унижать ее, ее же низким чувством, я продолжал и не без хвастовства.

- Вера Александровна, надо отдать мне должное, что я никогда никого не обманывал, а если и обманывал, то как-то вообще, случайно, само по себе. Вы спросите меня, а где же ваша обещанная мне четырехкомнатная квартира? И я отвечу. Она со мной, здесь, в этом кармане (я похлопал рукой по карману халата), и в знак доказательства я сегодня же иду выправлять документы на ее получение, за которыми по-

следует соответствующим образом мой переезд.

И кроме того, Вера Александровна, я был несколько шокирован, меня несколько шокировало, что вы сомневаетесь в моих мужских достоинствах, я даже был поражен, что вы можете сомневаться в них.

Вера Александровна, я красив и красив той эллинской мужественной красотой, которую мало кто в наше время понимает и мало кто по достоинству может оценить.

Надеюсь, она вам была всегда свойственна и вы должным образом ее поймете... Вот она, Вера Александровна, вот она!

С этими словами я с улыбкой распахнул свой халат.

Что я увидел? Я увидел, как моя избранница, моя соседка сначала побледнела, и потом покраснела, позди ее прекрасного носа расширились и задышали, а грудь высоко поднялась и остановилась.

И тогда я шагнул к ней навстречу.

Несколько ударов по моему лицу привели меня в то скучное состояние, в то состояние обычной деловой скуки, которое я часто испытывал, сидя у себя на работе за своим столом.

И все-таки я нашел в себе силы улыбнуться и, победно взглянув в ее глаза, сказать: "Вера Александровна, мавр сделал свое дело. Слово теперь за вами!"

И с этими словами я повернулся и, высоко и победно держа свою голову, проследовал в свою комнату.

Странное чувство испытывал я, когда я пришел к себе в комнату и лег на свое обычное место.

Мое мужское тщеславие было уязвлено и все же я должен был себе признаться, что я был доволен.

Ведь и здесь, в этой последней сцене на кухне, не соври я, все бы катилось по своим обычным формам и канонам — мирное существование двух еще молодых соседей, объединенных общим словом — любовники, истинный смысл которого (свершись это), как и от купленного мною ружья — привел бы меня в состояние скуки.

И в то же время я себя спрашивал: "Что же дальше, когда, как это ни странно, я отрубил всяческую возможность продолжать наше мирное существование бок о бок, на этих

своих "метрах" коммунально-квартирной системы. Ибо это значило изо дня в день читать в "ее" глазах постоянный упрек. "Вы, мол, Евгений Владимирович, хоть и обещали на мне жениться, вы в моих глазах теперь негодяй и просто подлец".

И все-таки я должен был еще раз признаться, что не сожри я — я бы не испытывал того наслаждения, которое я испытывал постоянно, суть которого: хотя бы на единый момент осуществление своей мечты. Я бы назвал это наслаждение свободой. И главное как раз было в том, что и сам не знаешь, что скажешь и какие следствия и поступки явятся из этого твоего вранья и к чему приведут.

И все это с вдохновением, игрой, что присуще скорее детству, творчеству, чем простой обычной будничной жизни.

Я взглянул на висевшее на стене ружье и улыбнулся:

"И ты вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье"..

Оставив на стене так ни разу не выстрелившее ружье, я спустился по лестнице и вышел на улицу.

Свобода и неизведанное открывались мне во всей прелесть в новизне.

И ногами в близине утопает кладбище, нарядно, снегом убрано. Ни души, ни следа. Холодеешь, поступи своей не чувствуя, не слыша. Не глух ли — страшисься.

Затаится, съжигтся дух, сдавит грудь. Вокруг безветрием все покоем глумится. А то осклабится, зазовет тайно...

От тропи, по левую руку, могильные огибая ограды, тащется, устало прихрамывая, старуха. Волокет на себе крест здоревенный, цепи торчат из корней креста, оставляя в сугробах глубокую борозду.

Длинный ватник, да валенки, вытертый до основы платок, паутинный, окутая сухую головку. Топорик за кушаком поблескивает. — Теперича здесь не хоронят, ни, уж как два лета...

Вот и церквуха, — склад нищен. Протоирей Сергей заброшенная каменьями: де в стену бросали дети, кто куда попадет. Серые лунки на теле его, штукатурка... Рамы иконные, до потолка — безликий иконостас. Щебень, от телеги колеса, дерьмо лошадиное да голуби сизые. Над коваными покалеченными дверьми богоматерь с мазутными мушкетерскими усами. Напротив склада розовой известковой кляксой, с траурным кантом на дверях и окнах — постройка — сторож был. А за ней, в нагах десяти, наконец, и двор разбросан. Одна двухэтажный дом и три поменьше избы — все дерево. Посредине двора для воды колонка и два столба для белья, с веревкой...

Гнусая плывет подрагивая калитка, ветхая, покосившаяся; резко выклиничываясь в забор, туло ударяет засов. Старуха, сторбленная, напряженная, в кряхтя и останавливаясь, вцепившись застывшими пальцами в крест, втаскивает его в свое жилище. — Двери на кряк, вот и дома... Теперя дня на два кватит, — бормочет старуха. Зайндевели ручки дверей и стекла. В раме, в оконце, в щелях бумага — не дуло чтоб. Потирая руки, похлопывая, достала свички и, осторожно чиркнув, свечу зажгла. — Вот и дома, в дому наконец. Засуетилась, согрелась немного. Утодрала сперва одну с креста полонину, передохинула да топориком в цепи, и затопила печь. Разгорается. Ох ты ж, сила дьявольская! Сидит старуха у двери, греется. Хорошо разгорается, жарко. Освещает жилище. Блеклые, потерявшие цвет обои в цветочках. Через перегородку — шифоньер без двери, со сваленным в кучу лежалым бельем. Рядом

ились диковинные зубы, словно на спине у дракона. Я не мог не узнать их — это были зубы с свиных картонок, фантастически выросших в размерах.

— Банера, — коротко пояснил Саяка.

Как он ухитрился все это соорудить ночью один — ума не постигнуло. Потому-то у него и был бодро-усталый вид, вид человека, хорошо сделавшего нелегкую и важную работу. И конечно, он волновался, как всякий исследователь перед началом решающего эксперимента.

Солнце перевалило через конек крыши гиганта, и все зубы уже были освещены. Их тени проходили сейчас поверх оранжевого дома и падали где-то за ним на землю, так что пока мы ничего не видели. Оставалось ждать.

Оранжевый дом по-прежнему оставался в тени, но вскоре на его крыше возникло слабое красноватое свечение, оно становилось все более ярким, и начало ползти вниз, на фасад дома.

И через четверть часа вся средняя часть особняка была залита солнечным светом, рисовавшим на фасаде фигуру в виде клина, сужавшегося немного книзу. Солнечный этот клин занимал большую часть дома, только два окна с одной стороны и одно — с другой оставались в тени.

На Саяку приятно было смотреть. И хотя он, дымя сигаретой, небрежно поглядывал на оранжевое сияние особняка, будто все так и должно быть, и нет тут ничего особенного, я видел абсолютно счастливого человека.

Теперь оставалось самое интересное, — как все это воспримут другие. Первым, вышедшим из подъезда, был пожилой мужчина с расстроенным усталым лицом. Зябко кутаясь в плащ и глядя перед собой в землю, не заметив нас, на солнечной брешке в тени дома, он удалялся неуверенной походкой.

— У него какое-то горе, ему не до этого, — заметил Саяка грустным голосом, с которым совсем не вязалась его радостная улыбка.

Следующим был молодой человек в очках, студенческого вида. Он сильно скатился с последнего марша лестницы и вылетел из подъезда с такой скоростью, что мы с Саякой еле успели убраться с его пути.

Далее появилась женщина с хозяйственной сумкой, а за ней — еще две. Все они одинаково спешили, у всех были по-

кожие сумки, и все одинаково безучастно смотрели вперед, не поворачивая головы ни направо ни налево. Можно было подумать, что это такой фокус — три раза подряд из парадной выходит одна и та же женщина.

Затем люди пошли сплошным потоком, и теперь уже все ужасно спешили, и ни один из них не взглянул даже краешком глаза на дом, впервые за много лет купавшийся в солнечном свете.

— Они ни на что не смотрят, — огорчился Сашка, — нужно обратить их внимание.

Но как это сделать, было непонятно. Они вылетали из подъезда поспешно, как пчелы из улья, и заговорить с ними о тени их дома было так же сложно, как затеять с рассерженной пчелой разговор о ландшафте.

Тем не менее удобный случай вскоре подвернулся. По лестнице спустился мужчина, седоватый, с орлиным профилем и с большим желтым портфелем. Он никуда не бежал, и стал чинно прогуливаться перед домом, поглядывая иногда на часы.

— Доброе утро! — обратился к нему Сашка с приветливейшей улыбкой.

— Здравствуйте... — после некоторой паузы вяло ответил тот.

— Вы не видите здесь ничего необычного? — Сашка показал на оранжевый дом жестом радушного приглашения.

— Вам что, делать нечего? — на лице незнакомца сквозь вялость неожиданно проступило крайнее раздражение, он оглядел брезгливо экзотический сашкин костюм, — занялись бы чем-нибудь лучше! — тут к тротуару подкатила легковая машина, и он исчез за услужливо откинутой шофером дверцей.

— Я теряю квалификацию! Не признал большого начальника, стыд-то какой! — весело откомментировал Сашка, но улыбка его была уже далеко не такой радостной, как час назад.

Поток выходящих заметно поредел, и я начал терять надежду. Но тут появились две девушки, одна возбужденно шептала подруге на ухо, а та кусала яблоко и хихикала.

— Доброе утро, барышни! — галантно поклонился им Сашка.

Те остановились, глядя на него, как мне показалось, одобрительно.

— Вам не кажется, что этот дом освещен необычно? — приступил Сашка к делу.

— Это слишком старо! — фыркнула жеванная яблоко.

— В такую-то рань и с такими глупостями! — укорила Сашку вторая, однако довольно ласковым голосом.

Они снова двинулись и ловко обогнули Сашку, но через несколько шагов оглянулись.

— Приходите завтра в это же время! Или еще пораньше! — крикнула первая.

— И придумайте что-нибудь поновее! — пропела вторая.

Они тут же забыли про нас и стали переходить улицу, выбивая по мостовой каблучками дробный аллюр.

Люди из подъезда стали выходить совсем редко, наступило затишье. На сашкино чудо никто так и не обратил внимания, но он не казался обескураженным.

— Я предвидел это, — пояснил он с некоторым апломбом, — и послал кое-кому приглашения.

И действительно, не успели мы выкурить по сигарете, как неизвестно откуда подкатил милицейский патрульный "газик", он развернулся с ричанием перед подъездом и замер, но мотора не заглушил. За ним те же маневры, только бесшумно, проделал черный "зим" с занавесками на окнах.

Лишь теперь понял я сашкин замысел: чтобы привлечь внимание к своей идее, он решил с помощью ее устроить общественный беспорядок и отдаться в руки закона.

Патрульный газик, с огромной семеркой на дверце, ярко раскрашенный в синее, желтое и красное, напоминал цирковой рекламный фургон; казалось, оттуда должны вылезти морские львы с цветными мячами или еще что-нибудь в этом же роде. Однако из него вышли четыре самых обыкновенных милиционера и стали недоуменно оглядываться.

Черный же лимузин оказался настоящей сюрпризной коробкой. Сначала из него выскочил юркий старичок в черной велюровой шляпе; вздергивая козлиной бородкой, он тоже начал осматриваться.

Сашка смотрел на все это с радушной и немного смущенной улыбкой, словно встречающий гостей юбиляр. Расчет его оправдался: на другой стороне улицы уже собралась маленькая стайка зрителей.

Старичок быстро оценил обстановку. Оглядевши огромный куб дома и солнечный клин посередине его необъятной тени, он обернулся к лимузину и поманил кого-то пальцем.

На его призыв дверца открылась и выпустила высокую девушку в очках с фотоаппаратом на шее. Старичок ей показывал пальцем, что снимать, и девушка щелкала фотоаппаратом. Шофер лимузина тем временем опустил боковое стекло и принялся грызть семечки, ловко сплевывая кожуру через узкую щель.

А Сашка продолжал благожелательно улыбаться, и милиционеры стали к нему приглядываться, почуяв, что он не случайный зритель. Дело явно шло к объяснению между ними, но тут произошло неожиданное.

Ветер, время от времени поднимавший в воздух охапки листьев, и ронявший их тотчас на землю, внезапно окреп, зашумел и закрутил листья смерчами.

Раскачались деревья, и солнечный клин на оранжевом доме закачался тоже от ветра, и это было неприятно и страшно. Клин изогнулся вправо, стал бледней и исчез, рассыпавшись на мерцающие треугольники, и они тоже раскачивались в такт с порывами ветра.

Сашка первым сообразил, что случилось: запрокинув голову, он смотрел, как ветер терзает его детище. Фанерный дракон проснулся, и пластинки на его спине зашевелились.

Вычислив, видимо, где случилась поломка, Сашка бегом бросился в парадную. За ним сорвался с места один из милиционеров, но рупор с крыши милицмейской машины произнес хриловатым голосом:

— Подожди, Толмачев, не надо...

Толмачев вернулся на место, а Сашка вскоре появился на крыше — фигурка пигмея на спине у дракона. Он быстро спускался к краю и, дойдя до него, стал пробираться вдоль фанерных зубцов. Наконец, он пригнулся рядом с одним из них, прилаживая оторванный лист к водосточному желобу. Видно было, как ржавое железо ходит у него под руками; все молча смотрели вверх, и стало слышно, как в рупоре что-то потрескивает.

Мы не заметили, как снова налетел ветер, а только увидели, что зубцы наверху сильно раскачиваются. Лист, с которым возился Сашка, внезапно отделился от крыши, взмыл к верхушкам деревьев и, вертясь все быстрее и быстрее, стал падать. Я невольно следил за его полетом и снова поднял голову, лишь услышав визгливый скрежет колеса.

Желоб не выдержал. Сашка барахтался, уцепившись руками за ржавую железную полосу, и большая часть его туловища свиса-

ла вниз. Наконец, ему удалось достигнуть какого-то равновесия, и он перестал шевелиться.

Я не успел и подумать, что же теперь делать, как раздался лявг автомобильных дверей. Тут-то черный лимузин себя показал. Он словно взорвался, как лопаются переспелый стручок гороха. Все его двери открылись, и из них вылетели четыре человека, двое в беретах и двое в шляпах, и побежали к дому. Еще на бегу они начали разворачивать что-то большое и серое, оказавшееся брезентом. Они растянули полотно за углы, а подбежавшие милиционеры ухватились за него посредине краев. Все это было сделано так лихо, что напоминало танцевальный ансамбль.

— Прыгай! — рявкнул оглушающе рупор.

Сашка разжал руки. Пал он страшно медленно, и никогда не думал, что что-нибудь тяжелое может так медленно падать, так бесцельно и плавно плыть вниз. Тем восьмерым тоже казалось, наверное, что он падает очень медленно, они натянули брезент так, что костяшки их пальцев совсем побелели.

Когда Сашка коснулся брезента, все они резко дернулись, и Сашка подлетел вверх и снова упал. Тогда они опустили брезент на землю.

Все происходило по-прежнему бесцельно. Возле Сашки возник стриженный чуббриком человек с кожаной сумкой, он потрогал у него виски, какое-то место около уха и пульс на руке, вынул из сумки шприц и сделал укол Сашке в руку чуть пониже плеча, прямо сквозь ткань рубашки. Пока он орудовал шприцем, девица наклонилась над Сашкой и дважды щелкнула его аппаратом.

Я подошел вплотную, и они на меня не обратили внимания. Так мне и запомнилось сашкино бумажно-белое лицо в мертвом свете магниевой вспышки, со струйкой крови из угла рта. Его погрузили в размалеванный газик и увезли.

Старичок с девицей опять занялись тенью дома. Треугольники там исчезли, их сменили косые полосы, они изгибались, теснили друг друга и выпрямлялись снова. Девица щелкала кадр за кадром, она забыла выключить вспышку, и странно было видеть голубое мигание электрической молнии, такой бесполезной и жалкой в солнечный день.

Кто-то из тех, в беретах, подошел ко мне и записал мое имя и адрес, даже не спросив документов. Они уехали, уступив поле деятельности только что появившейся пожарной машине.

Когда я вечером шел с работы, на крыше дома следов сап-
киных сооружений уже не было.

Через несколько дней меня вызвали в районное отделение милиции. За широким столом, отражаясь в его пустой поли-
рованной крышке, сидел маленький человечек с высоким смор-
щенным лбом. Поглядевши в повестку, он устремил взор в пото-
лок, видимо вычисляя, по какому я делу.

— Вам известно, что ваш приятель тунеядец? — он перевел
глаза на меня и сморщил лоб еще более.

— Он не тунеядец! — я постарался вложить в ответ как
можно больше солидности.

— Значит известно... — сказал он спокойно, и лоб его на
мгновение разгладился, — он сейчас в лечебнице, нервы, — он
постучал пальцем себе в висок, — выйдет недели через две. Он
должен найти работу, и на первый раз мы поможем... Скажите,
где ему лучше работать?

Вопрос был нелегкий. В голове у меня целый день верте-
лась нелепая фраза, и я решил принять ее за наитие свыше:

— Он был бы хорошим садовником.

— Садовником?... — лоб его сморщился до невозможности, —
гм... наверное тоже диплом нужен... вот рабочим по саду мож-
но... — он снял трубку телефонного аппарата без диска и нажал
какую-то кнопку. — Из следственного. Подберите место рабочего
по саду... да... да... — он повернулся ко мне. — Вы свободны,
— он потянулся было опять к телефону, но, задумавшись на се-
кунду, привстал на своем высоком стульчике и протянул через
стол руку:

— Благодарю вас!

Наше рукопожатие торжественно отразилось в зеркальной
полировке стола.

Я с нетерпением ждал появления Сашки, не зная, одобрит
ли он мою идею. От отнесся к ней благосклонно:

— Ты это ловко сообразил, я бы вряд ли додумался...

Сашку определили в большой парк около стадиона. Он хоро-
шо управлялся с деревьями и кустами и, несмотря на отсутствие
каких бы то ни было дипломов, скоро был возведен в чин садов-
ника и получил в заведывание обширный, изрядно запущенный
угол парка, даже с собственным пивным ларьком.

И любил бывать у него, и пока он складывает в свою сто-
рожку лопаты и грабли, ~~кххххх~~ смотреть, как замисловатые тени

кустов разбегаются по красным песчаным дорожкам.

От Жанны какое-то время приходили редкие письма, потом они прекратились. Рисунок ее я подарил Сашке, и он повесил его на дощатой стене в сторожке — сидят на карнизе странные черные птицы и смотрят вниз на человеческую фигурку, идущую по канату над площадью.